



Натик Расулзаде

Записки
самоубийцы

Натиг Расулзаде

Записки самоубийцы

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5025806*

Аннотация

Молодой человек возвращается с Афганской войны домой, в Баку с ранением, с ампутированной правой рукой. Он не может найти работу, не может добиться от чиновников-взяточников пенсии по инвалидности. Он вынужден соглашаться на самые низкооплачиваемые, грязные и оскорбительные работы, чтобы хоть как-то прокормить себя и свою больную мать. Случай сводит его с наркодельцами, которые используют его в качестве наркокурьера. Он начинает зарабатывать, но очень скоро осознает всю незаконность и опасность игры, в которую ввязался.

Натиг Расулзаде

Записки самоубийцы

Мне двадцать пять, я воевал и уже больше трех лет назад, в конце 1981-го вернулся из Афганистана, еще десять месяцев оставалось мне до полного дембеля – подорвался на mine, остался без руки, вернее, не я подорвался, а товарищ рядом в цепочке, мы шли цепью, подходили к афганскому поселку, и место это, мы знали, не было заминировано, а мина, на которой подорвался наш товарищ, была случайной, какой-то гаденыш приладил ее на всякий случай для олухов, и вот товарищ наш и наступил на нее, взлетел на воздух на моих глазах, а меня отшвырнуло в сторону взрывной волной, я упал, почувствовал тут же пронзительную боль в локте и, прежде чем потерять сознание, успел поднять голову и увидеть, как в двух шагах от меня, в облаке сухой пыли, камней, бесшумно сыпавшихся с неба – я ненадолго оглох от разрыва мины – опадают на землю мелькавшие в воздухе человеческие внутренности непонятно какого цвета. Мы здесь мины не ожидали, угораздило же его наступить на эту гадину, сам сыграл в ящик, да и меня изуродовал, ну, ладно, дело прошлое... Я с ним дружбу не водил, не то, чтобы поцапались, а просто, как бывает, сразу не сконтачили, ну и в дальнейшем не сошлись близко; парень, как я его знал был не очень-то, короче, трусоват был, хоть и нехорошо так о покойниках; но

хорошо, или нехорошо, а правда, это замечали за ним все в нашей части, не очень-то лез он в герои, любил не высовываться, отсидеться спокойно в укромном месте, но Афган не парк культуры и отдыха, особенно не отсидишься, на то она и война, и мы все тут боялись, боялись умереть, боялись покалечиться, ну, то есть, стать инвалидами, потому, что уже хорошо знали – если ты стал в Афгане инвалидом и вернулся домой, тут тебе и хана будет, никто тобой не займется по-настоящему, будут делать вид, что тебя вообще нет, так же, как и нет войны в Афганистане, одну пенсию выбивать приходится так, что все остальное здоровье оставишь, психом сделаешься. Ну, героям, ясное дело, немного полегче, да на счет героев ведь тоже туго – не грибы после дождя, на всех нас звездочек не напасешься, хотя моя бы воля, я бы всем ребятам, которые достойно вели себя тут давал бы звезду, честное слово, потому что даже это здесь нелегко – вести себя достойно, не бояться, не трусить. Я, например, честно скажу, боялся, на каждом шагу боялся, потому что постоянно мыслями был дома, а дома, в Баку у меня мама осталась, отец совсем недавно умер, только я на похороны его не смог поехать, в госпитале провалялся, еще брат у меня есть, но тот давно живет не с нами, в Саратове живет, после армии остался там, женился, теперь у него давно уже семья, дети, работа, старше он меня намного, ему теперь за сорок, и давно он живет там своей жизнью, и маму нашу почти забыл, а у мамы кроме нас двоих никого близких нет, случись со

мною что-нибудь, заботиться о ней кто будет, вот я и боялся, как же тут и не бояться, что убьют, или ранят? Вот так вот. Что-нибудь случится со мной, как мама проживет одна? На ту пенсию, что дадут за меня и кошка не проживет сейчас. Она уже старая, больная, есть, пить надо? Ладно, допустим, совсем плохо будет кушать, дешевую колбасу покупать, без фруктов и овощей обойдется, но ведь ей лекарства нужны, ей постоянно диабет лечить нужно, зуб лечить нужно, все свои старческие болячки надо лечить, а лекарства – пойдешь достанешь, да даже если дадут, эти аптекари-суки у нас такие цены заломят – жить не захочешь. А брат старший, Акрам, он не помогает маме, почти совсем забыл ее, раньше хоть изредка присылал деньги, а сейчас у него трое детей, да все в таком возрасте одеваться-обуваться модно им надо, да и жена его, Люся не ладит с мамой, потому что мама была против, чтобы брат женился там на Люсе, а хотела, чтобы женился Акрам в Баку на своей, азербайджанке, ну, та с тех пор и запомнила и потом делала все, чтобы отдалить Акрама от нас, да и чем он может помочь маме, сами они еле концы с концами сводят, не шутка – трое детей, накорми их, одень, обуи, ну, ладно... Потому я и боялся, что могу погибнуть там в Афгане, и тогда маме очень трудно придется, ведь она и пенсию не получает, не дотянула до пенсии, заболела, и теперь только выясняют, достойна ли она получать, и сколько... И вот, как назло не повезло мне, осколком садануло в руку, в локоть попало, разворотил осколок весь локоть, так,

что в госпитале, как увидел врач рану, так и не сомневался, что только ампутация тут необходима, ну и ампутировали, конечно, и теперь я без левой выше локтя, чего боялся, то и случилось – инвалидом сделался; раньше, до Афгана на заводе работал, в институт после школы поступал, не поступил, конечно, просто разохотился в институт, потому что у нас в классе почти все ребята были из зажиточных семей и все говорили, что обязательно после школы в институт пойдут, ну и я решил не отставать, хоть и предупреждали меня, готовы, говорили, бабки, или блат крепкий заведи, у меня, конечно, ни того, ни другого, да и знания после школы, честно говоря, были такие, что нетрудно меня срезать, но ведь я пройти мог, ведь ставят же кому хотят вместо двойки пятерку, почему же не поставить вместо тройки тройку, так нет же – срезали; ну и хрен с ними, пошел на завод, это называется – знай сверчок свой шесток, вкалывал на заводе, пока не призвали в армию и не послали в Афган; раньше, значит, у станка стоял, неплохо зарабатывал, а теперь, куда я, безрукий денусь, куда я гоюсь такой, ну, ладно... А товарищу нашему – ну, тому, что на mine подорвался, Витей его звали – посмертно героя дали, за то, что на случайной mine взлетел и меня заодно подорвал, а что, может, и правильно это?.. Я, наверно, очень сумбурно излагаю свои мысли, пишу бестолково, но в школе я хорошо учился по литературе, вообще, предмет этот любил, много читал, дай, думаю, начну что-то вроде записок о моей жизни, особенно навязчиво эта мысль приходила после

Афгана, где я, кажется, уже всего насмотрелся, но почти сразу, как вернулся, даже отдохнуть не успел как следует, срок потянул, пришлось в зоне отпахать, а после зоны взялся вот все описывать, потому что, чувствовал, много разной дряни накопилось во мне, злости набралось – на взвод солдат хватит, на весь мир был зол после всего, что испытать пришлось: дай думаю, писать начну, может, полегчает, а тут, к тому же, девушку одну встретил, перевернулось все во мне, уже действительно надо было делиться с кем-то, а делиться, поговорить по душам было не с кем: друзей после школы у меня не осталось, новых не заводил, не перед кем было душу излить а это иногда так бывает необходимо: вот и стал записывать, заодно решил вспомнить и то что раньше было, до встречи с этой девушкой; кроме того, я всегда был уверен, что когда пишешь, как-то легче становится, освобождаешься что ли от всякой накопившейся в душе дряни, переносишь это на бумагу, и то плохое, что произошло с тобой, немного отдалается, и можно на это посмотреть более спокойно, глазами постороннего; я эту мысль и у писателей встречал, точно, читал где-то, в какой-то книжке, и очень поверил этому, ну и решил записывать для себя все, что со мной случилось и дальше случится, все записывать в эту книжку записную, я ее теперь постоянно с собой таскаю в кармане, почти никогда не расстаюсь с ней, записываю разное, где и когда придется. Вот запишу и будто поговорил с близким, добрым человеком, поделился с ним чем-то гнетущим, легче стало. Хотя,

наверно, любые записки пишутся с тайной надеждой, что их когда-нибудь прочитают. Ну, не знаю... Короче, значит, отрезали мне в госпитале руку, был в беспамятстве, очнулся от боли, чуть не взвыл, жжет, проклятая, хоть и нет ее больше, но так болит, как будто есть, и до того нестерпимо, что, наконец, не выдержал, сил не стало терпеть, скрипел, скрипел зубами, потом, думаю, черт, не выдержу, кричать буду, ну и стал орать, прибежала медсестра, потом убежала и доктора привела, он осмотрел обрубок, кивнул ей, она мне укол воткнула, чуть отпустила боль и я заснул, как убитый, а потом проснулся, но уже болело меньше, можно было терпеть, я и не жаловался, а скоро совсем боль прошла, культяпка моя затягивалась быстро, хорошо, на мне вообще все раны с детства, как на собаке зарастали, врач был доволен, что быстро на поправку иду, сестры со мной шутили, все были довольны, только я был злой и постоянно мрачен и ничто меня не радовало, руки не было, что же тут радостного, куда мне теперь деваться, на черта мне этот обрубок, что с ним делать, разве что засунуть тому гаду... кто нас бросил в эту заваруху?.. Я иногда думал об Акраме, о маме думал постоянно, это да, а об Акраме – редко, и однажды подумал, как ему повезло, что ему за сорок и что отслужил он в армии до начала этих Афганских дел, ведь его бы обязательно взяли, могли бы убить, или покалечить, как меня, обязательно взяли бы и его, потому что семья у нас бедная, откупиться нечем, я не шучу, откупались, еще как откупались, и вместо одного ка-

кого-нибудь чада из богатой семьи со связями брали другого парня и отсылали на войну в Афган, я сам с одним таким служил, земляк мой как раз оказался, он мне и рассказал, что сначала ему объявили, что в Казахстане будет служить, а в последний день только поставили, как говорится, в известность, тут же без лишних слов отправили в Афганистан, он потом как-то узнал, тоже ушлый был парень, узнал, что того, вместо которого он прибыл в Афган, просто откупили, есть такие случаи, есть, у нас полно, еще бы не было, как же тогда объяснить, что среди наших солдат-афганцев я сколько воевал там, ни разу не встретил, скажем, ни одного сына министра, или замминистра, или работника ЦК, или Совмина, или хотя бы сына какого-нибудь большого начальника, ни одного такого не встретил, а кого ни спросишь – отец рабочий, колхозник, шахтер, пенсионер и так далее, ни один из них не был отпрыском каких-нибудь шишек-родителей. Что случилось? Разве у высокопоставленных людей нет сыновей? Есть, конечно, только что им там было делать, под пулями? Взлетать на воздух, как бедняга Витя? Разлетаться на куски? Ранеными, под обстрелом, срываться в ущелье? Попадать в плен, чтобы с них требовали выкупа, а в случае несостоятельности, пытали, жгли, издевались, резали и, наконец, осквернив испражнениями еле дышащее тело, отсекали голову? Что им было делать на этой чужой земле, когда таких, как я вполне достаточно? Они лучше будут в институтах девок лапать на лекциях, курить дорогие сигареты, брать у ро-

дителей сотни рублей на карманные расходы. Э, что там говорить... Конечно, что тут им было делать на войне, что они потеряли на чужой земле? А что мы потеряли на этой чужой земле, или для кого она чужая, а для кого нет, для таких как я, выходит, нет? Что потеряли в Афгане десятки парней, что за год с лишним только на моих глазах погибли под пулями? Что я потерял в Афгане? Теперь могу точно ответить на этот вопрос – руку, да еще веру в мудрость наших руководителей, которая у меня и раньше не очень-то крепкая была. В госпитале, помню, через койку от меня лежал молодой лейтенант, обе ноги ему ампутировали, снарядом разворотило, вернее, осколки попали, да так были ноги напичканы этими осколками, что целой косточки не оставалось, так что сохранить ноги не представлялось возможным, молодой парень, чуть постарше меня. Мы с ним несколько раз разговаривали, хотя он и был молчун, особенно не разговоришься, конечно, когда тебе так не повезло, он мне рассказывал как-то, что не хотел быть военным, но дома настояли, потому, что у них все мужики в роду потомственные военные и дед, и отец, а сам он с детства мечтал, что артистом станет, да и красивый парень был, что и говорить, лицо такое одухотворенное, отец у него и сейчас служит – полковник, и это он настоял на военной карьере сына. Не нравилось парню быть военным, но вот он отучился, дали ему лейтенантские погоны и направили в Афганистан, да еще и отец дал, так сказать, свое благословение. И вот как вышло. Стал инвалидом человек. Одна-

жды просыпаюсь среди ночи от странного бормотания над головой. Тихонько обернулся – вижу: на подоконнике, в двух шагах от меня – безногий лейтенант, сидит на подоконнике и тихо что-то шепчет, я машинально, еще не понимая, что происходит, стал прислушиваться... тумбочка, помню, была у подоконника... видимо, он ее отодвинул от изголовья к окну и с постели вскарабкался на тумбочку, а с нее – на окно... Ну вот, значит, сидит на подоконнике, шепчет что-то, будто молитву читает, так монотонно, как человек, у которого уже не хватает душевных сил, чтобы с выражением читать, только водит изредка рукой с вытянутым указательным пальцем, будто отчитывает провинившегося ребенка. Я прислушался. «Мать вашу так и так, и чтобы вам ни дна, ни крыши, и вашего слабоумного отца, украшенного орденами, и все ваши ордена, и мать вашу туда, и все ваши награды, и всю вашу распаскудную житуху на этом свете, – перебирая матом, говорил он, дико скрипя зубами. Вот это, примерно, я и услышал, и сначала ничего не понимал, потом вдруг как обожгло – окно ведь открыто, он стоит на подоконнике, перед запахнутым окном! Я невольно вскрикнул, он испуганно оглянулся на меня, процедил тихо еще что-то сквозь зубы, развернулся на руках, ловко откинулся затылком назад, и подоконник в тот же миг опустел. Я крикнул, уже громко, зовя дежурную сестру, крик вышел какой-то жуткий, звериный, все проснулись, а я, кажется, еще какое-то время кричал, показывая рукой на окно. Потом подбежал к окну, сестра уже

была в палате, свет зажгли, глянул я вниз – лейтенант лежал в майке и трусах, которые полностью накрывали обрубки его ног, лежал с как-то неестественно подвернутой головой, раскинув руки... Госпиталь наш находился в Кабуле, палата – на четвертом этаже, последнем, ударился парень, видимо, как и рассчитывал – прямо головой, когда мы побежали вниз, я подошел к нему и ясно увидел, как расплющилась его голова, череп был расколот и показывалось в огромной трещине что-то темное внутри черепа, один глаз выпал и лежал на ключице лейтенанта, глазница была мертвая, страшная, страшная для меня еще потому, что я хорошо помнил живые, подвижные и грустные светло-голубые глаза этого парня, а то, что недавно было слишком живо, а теперь мертво, кажется мертвым вдвойне и каким-то жутким, как сама смерть. Труп тут же накрыли простыней. Врач потом говорил, что умер парень моментально. И на том спасибо. Жена и маленькая дочка остались у него. Через день после этого случая меня выписывали из госпиталя. И выписанный из госпиталя, без одной руки отправился я прямым домом, еще десять месяцев до полного дембеля оставалось. В каком-то смысле, повезло, выходит. Что ж, нет худа без добра, так хоть без одной руки, да возвращаюсь, а мог бы в цинковом гробу обратно... Ну, и поехал я в Баку, домой, а куда же еще? Дай, думаю, маму обрадую своей культяпкой. Ну, обрадовалась, конечно, с рукой, без руки, все же сын, хорошо, хоть живой вернулся. Она-то приблизительно знала, что там, где я был, творится,

писал я ей, хоть и старался в письмах полегче, не всю правду, чтобы она не очень беспокоилась, описывал не так уж мрачно эту войну, ни о каких опасностях не сообщал, не всю правду, одним словом, как у нас пресса освещает события, видимо, тоже не хотят беспокоить население по пустякам, как я – свою маму не хочу беспокоить. Прижалась ко мне, обняла, долго не отпускала, в буквальном смысле оросила мне культияпку слезами. Спасибо, живой вернулся, сынок, – говорит сквозь плач, – в Баку уже у стольких сыновья там погибли, я от страха каждый день дрожала, думаю, не дай бог... спасибо, живой вернулся... Спасибо. Это же надо. Что ты меня благодаришь, – говорю, – спасибо партии и правительству скажи, что я живой вернулся. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это. Вот так примерно. Эх, – мама чуть улыбнулась и шлепнула меня по спине, – и на войне побывал, а ума не прибавилось. Ничего, – говорит мама, – проживем, раз ты вернулся, теперь проживем, только ты не говори такие вещи будь осторожен, того и гляди, можно из-за необдуманного слова молодостью расплатиться. В маме жив еще страх тех давних лет репрессий. Ну, – говорю, – ты насчет расплатиться не бойся, мы с тобой, кажется, полностью расплатились, я вот инвалидом стал, а какие мои годы, посмотрим, как теперь с нами расплачиваться будут. И вот, как в воду смотрел насчет этой расплаты. Пенсия мне полагалась, как инвалиду войны, так пока я ее выбивал, чуть не сдох. Вспомнить противно, сколько порогов пришлось обивать, справок

доставать, заявлений писать, награды демонстрировать, мол, вот они, все в порядке, все законно, не только у нашего мудрого руководителя, есть они и у меня, есть, не беспокойтесь, и культяпка, товарищи в военной медкомиссии, тоже настоящая, не поддельная, можете ручками потрогать... И так однажды мне гадко от всего этого сделалось, хоть криком кричи, хоть возьми нож да и зарежь этих гадов, от которых пенсия эта жалкая зависит, или сам зарежешься при них, как какой-нибудь японец, с надеждой, что всю оставшуюся жизнь их будет мучить совесть... Тогда я пошел на свой завод, хотя и знал заранее: ничего хорошего из этого не получится. Так и случилось. Гад в отделе кадров – ряшку отъел, – мне под конец нашего разговора заявляет, мол, не я тебя на войну посылал, какие, мол, могут быть ко мне претензии, а на завод можем тебя взять, – тут этот гаденыш так тонко ухмыляется, как у всех гаденышей принято ухмыляться, – если только рука отрастет. И не сдержался, захихикал, так ему собственное остроумие понравилось. Да, – говорю и чувствую – киплю уже, еще немного – взорвусь и тогда ничего толком не смогу сказать, еле сдерживаюсь, потому что еще в этом Афгане я последние нервы оставил, психом сделался натуральным. – Да, – говорю, – не ты, сучья морда, меня в Афганистан посылал, а я там дрался и подвергался на каждом шагу опасности быть убитым только ради того, чтобы ты тут со своим ублюдками отращивали себе щеки и задницы, чтобы ты тут сдирал с парней бабки за трудоустройство, и на эти их тру-

довые бабки, гнида сволочная, потом откупал бы своего сына-выродка от службы в армии, а тем паче – от войны, чтобы на трудовые деньги работяг, вроде меня, что ты, как сосун-пиявка сосешь из них, придумывая разные поводы, чтобы на эти деньги потом своих ублюдков в институты устраивал, машины с дублинками им покупал. Сказал я ему примерно вот так вот, под конец на крик сорвался, не мог сдержаться, а он выпучился на меня, побагровел весь, глаза вот-вот выпрыгнут, видно, давно с такой ошарашивающей наглостью не сталкивался, короче, видок у него – сейчас же концы кинет, что было бы очень даже кстати. Но я весь взвинчен, на пределе, не мог просто так уйти и дверью хлопнуть – мало, это пусть интеллигенты дверью хлопают, я его за то, что он над моим боевым ранением насмехался, убить был готов, схватил первое, что под руку попало – жаль, легкая штука оказалась: пластмассовый прибор для всяких там канцелярских штук – и швырнул в его покрасневшую лысину. Вот, говорю, получай, так и так твою мать. И вышел. Вслед даже крика не послышалось, видимо, сволочь эта в шоке пребывал. Ну, ясное дело, никакой работы, кроме места ночного сторожа я с моим характером (хотя, если подумать, при чем тут характер, надо человека обеспечивать работой без всякого учета его тяжелого или легкого характера, но у нас так уж повелось и все считают это нормальным) в дальнейшем не нашел. В конце концов, и пенсия стала приходить мне, вот уж неожиданные чудеса, а я грешным делом, подумал,

вовсе о моем существовании забыли. Ну, пенсия плюс зарплата ночного охранника на стройке, итого: раз пять-шесть на базар сходить. Одним словом, если не одеваться, не обуваться, не лечиться, или делать все это очень редко – денег на пропитание хватало. Но я был молод, да и сейчас молод, и хоть инвалид, но порой забывал об этом, честное слово, я хотел модно одеваться, хотел, чтобы в меня девушки влюблялись, или хотя бы иметь бабки на потаскушек, к которым, если у тебя в кармане меньше полтинника в нашем городе лучше и не подходи, хотел, чтобы все у нас было в достатке, и прежде всего хотел, чтобы мама ни в чем не нуждалась, ведь ей, в отличие от меня, нужно только необходимое, что ж если и этого самого необходимого у нее не будет, какой же я тогда сын? И вот потому я постоянно, независимо от себя, думал о деньгах, думал где бы раздобыть, заработать побольше денег, что бы придумать и на что бы такое исхитриться, вот такое вот дело. И вот, сижу я как-то ночью в своей будке, охраняю дерьмо собачье, которого на нашей стройплощадке больше, чем строительных материалов, сижу, люблюсь своей культей, покуриваю «Приму» любимую, потому что постепенно привыкал любить то, что мог иметь; сижу себе, думаю свои невеселые думы, как бы начать жить по-человечески, как бы в люди выбиться, а надо сказать, я по приезде из Афганистана еще раз пробовал в институт поступить, но это уже больше «на ура» было, сам понимал, последние знания там, на войне растерял, но думал что, как участнику и инва-

лиду поблажку сделают, но несмотря на ветеранские льготы, меня срезали, как суслика, и теперь до новой попытки стать студентом и учиться на инженера у меня был еще целый год впереди, значит, целый год ожидания и масса всевозможных нереализованных возможностей выбиться в люди, не ожидая высшего образования; сижу я так, значит, перекаत्याю в голове свои невеселые думки, и тут слышу – шаги. Высунулся из будки, вижу: идет один, тепленький, видно, большой охотник до сухих собачьих какашек, идет, шатается. Вышел я ему навстречу, что, говорю, по стройке шастаешь, места тебе мало, или воровать собираешься? Если воровать, сразу скажи, я из тебя вмиг жмурика сделаю, так как поставлен здесь охранять нашу дорогую, еще не растасканную, социалистическую собственность. Поглядел он на меня мутным взглядом, пьян, удивился, наверно, не ожидал в такой поздний час столь изысканного остроумия, похлопал глазами, потом вдруг пьяно икнул, улыбнулся, полез ко мне целоваться. Ну, я его легонько, чтобы на ногах удержался, отстранил рукой, которая у меня хоть и в единственном числе, а здоровая, дай бог, и повторил вопрос настоятельно. Тут он что-то промычал, покивал благодушно, полез в карман и вытащил – боже мой! – пачку пятидесятирублевиков, отделил один полтинник из кучи и сует мне, а кучу всю в карман, нет, чтобы наоборот. Шампанское, – пробормотал, заикаясь, косноязычно, так что я с трудом разобрал, чего он хочет. Шампанского, – говорит, – и побыстрей. На кубинку дуй, – говорит, –

мигом, туда-обратно. На такси, – говорит. Разговорился под конец. Я немного постоял, как олух с зелененькой в руке, а он уже пошагал себе обратно. Тут я пришел в себя и за ним пустился, догнал его, когда он уже входил через черный ход – видимо в кухню дверь вела – в кафе-стекляшку, что от нашей стройплощадки через дорогу находилась. Стекляшку эту, поговаривали, сносить собирались в связи с начавшейся тут, рядом с ней стройкой многоэтажного дома, да пока она стояла, уже вся обшарпанная, пыльная от туч цемента и песка со стройки, в ней наши работяги-строители днем обедали за рупь-два. Вот в эту стекляшку я – за ним, позвал, окликнул несколько раз, но он, видно, не услышал, или не обратил внимания, ну, я и зашел за ним, прошел по тухлому, прокисшему коридорчику и вошел в одну неприметную дверь за этим веселым парнем. Как вошел, так и застыл. Было от чего обалдеть. Ярко освещенный, просторный ресторанный кабинет, за столом пьяная гопка, компания человек восемь-десять, на столе – глазам больно от роскоши – чего только нет (потом вспоминал, сообразил: не было шампанского), девки сидят за столом, перед каждой – початая пачка «Мальборо», хохочут, визжат, целуются, а за дверью, когда шел по коридору за этим пьяным психом, все тихо, мертвое царство, дверь, оказывается, обита, звуконепроницаема. Уставились они на меня, потом на того приятеля, что деньги мне сунул. Он уже успел усесться на колени к одной дико завизжавшей от восторга подруге. Ты чего? – говорит псих, непонимающе

хлопая на меня глазами. Я ему протягиваю деньги назад. Он стал, как умел, объяснять компании, что послал меня на кубинку, за шампанским. От этого сообщения все возликовали, пьяны все были тут в дымину, мало, что соображали, и тоже стали совать мне деньги. Ну, думаю, тут вам объяснять, до утра дообъясняешься, черт с вами, поеду, лакайте, почему бы и нет, думаю, проедусь разок за счет сумасшедших, а если какому-то ненормальному во время моего отсутствия придет в голову очистить стройку от собачьего говна, так пусть он им и подавится. Короче, поехал я на кубинку, привез им три бутылки шампанского, блок американских сигарет, выложил на стол все это вместе со сдачей, и уже повернулся уходить, вцепились в штаны, не отпускают, смеются, поглядывая на скомканные деньги на столе, очень, видите ли, их развеселило то обстоятельство, что здесь сдачу возвращают, усадили меня, ну, я не стал ломаться, выпил с ними, да и пожрать охота была, а жратва тут – шик, первоклассная, да и обслуживал их сам повар этого занюханного – выходит, для кого занюханного, а для кого очень даже благоухающего – заведения, по высшему разряду обслуживал, и я понял, что это, видимо, большие люди, ну, во всяком случае, из богатеньких. Рано утром застолье закончилось, все незаметно как-то расползлись, и мой псих попросил меня довести его до дому. Адрес-то хоть знаешь? – спросил я. Ну еще бы, – самодовольно ответил он. Времени до прихода начальства у меня было еще достаточно, и я, поддерживая этого приятеля

ля, поймал тачку, усадил его и поехал вместе с ним. Возле его дома я расплатился своими кровными, потому что деньги со стола так и не взял, растолкал его, успевшего заснуть, помог подняться на третий этаж, точнее, потащил его чуть ли не на хребте у себя, и очутился в такой квартире, которая потрясла меня гораздо больше, чем та роскошная ночная пирушка среди развалин стройплощадки. Я такие только музеи видел, да и то нечасто. Квартира богатая, мне ее и описать трудно, на потолке – лепные золотистые амурчики, роскошная мебель, видеомэгнитофон, о котором я слышал только, что такие штуки есть, посуда прекрасная, одних сто-сто-пятидесятирублевых зажигалок на журнальном столике – рублей на тысячу, короче, побудешь в такой хате – в глазах зарябит. Ну, я не стал дожидаться этого зрительного дефекта, тем более что Осман – так психа того звали его друзья, я запомнил – повалился на диван и тут же захрапел. Я вышел из квартиры, тихонько захлопнул дверь за собой... Вот так я познакомился с Нагиевым, это фамилия Османа, он почему-то не любил когда его по имени называли. Дня через два, вечером, только я заступил на смену, вдруг подкатил Нагиев на своих новеньких «жигулях». Подошел и без дальних слов, ты мне нужен, говорит. Короче, стал я ему помогать в разных мелких делишках, туда поезжай, это привези, это достань. Просьбы свои он излагал предельно вежливо, и получалось, что просит он меня, обычно, об одолжении, ну, и бабки он мне отваливал за эти услуги неплохие, порой руб-

лей до шестисот-семисот выходило в месяц. Это, понятное дело, было гораздо больше моей пенсии. Эти деньги оченьгодились дома, и скоро я представления не имел, что быя делал без Нагиевских денег, потому, что маме уже приходилось лежать в больнице подолгу, а это – опять же расходы и по моим меркам немалые: врачу лечащему, за уколы, медсестре, няньке и прочее – влетало в копеечку, рублей до тысячи порой выходило вместе с едой, которую я ей покупал и привозил, потому что в больницах у нас в городе кормят, так сказать, только символически, чтобы больной не протянул ноги.

Короче, эти деньги уже становились мне остро необходимы, Маме я говорил, что подрабатываю, она верила, несколько раз пробовала узнавать от меня более подробно, каким образом, но я отмалчивался, переводил разговор, и она, тяжело вздыхая, не настаивала, тогда я принимался убеждать ее, что подрабатываю честно, попадается кое-какая работенка, и она успокаивалась, но ведь и в самом деле я подрабатывал, не крал же. Часто теперь приходилось принимать участие в попойках, что устраивал Нагиев, а порой, он доставал наркотики, и вся его шобла-вобла визжала от удовольствия, пробовали втянуть и меня, но я отказался наотрез, так, что с первого раза и отстали. От наркотиков они все балдели – смешно было смотреть, кололись, покуривали травку. Хитрый был

Нагиев, такие с головой в кайф не уходят, слишком он был деловой для этого, слишком предприимчивый, не увлекался наркотиками, да и выпивкой тоже, день погуляет, отдохнет, потом всю неделю делами занимался. А дела у него шли великолепно, деньги хорошие делал, в основном, шмотками промышлял. Я как-то спросил его, как же так, что он нигде не работает, не боится, что тунеядцем его признают, а он – мне, почему это не работаю, говорит, с чего это ты взял, еще как работаю, и если хочешь знать, лаборантом при заводской лаборатории, видишь, говорит, от разных нехороших ядовитых химикатов совсем здоровья лишился. Хихикает. Понятно, говорю. Не удивлюсь, если он «работает» в лаборатории завода, на котором я раньше вкалывал. Жил он один на этой своей шикарной квартире, в свои тридцать четыре года был уже дважды женат и дважды разведен, фарцевал крупно, связь с другими городами имел, со спекулянтами тамошними, понятное дело, оттуда привозили товар, он туда посылал, меня как-то раза два послал в Москву и Вильнюс с большими посылками, в общем, дела делал, не зевал. Я часто отвозил набитые вещами сумки его матери, которая жила со слабоумной дочерью, сестрой Нагиева в другом конце города. Сестру Нагиева я видел мельком, когда ждал в прихожей у них, она была дауна, и хоть им и нелегко, определить возраст, но мне показалось, что ей не меньше сорока-сорока пяти лет, хотя выглядела она очень упитанным ребенком. Я и

от матери Нагиева часто привозил набитые сумки – одну она мне вешала через плечо, другую – в руку, и кажется, в такие минуты очень жалела, что у меня не четыре руки, и даже не две. Вообще, в последнее время на такси только передвигался по пространству. А по времени... Черт его знает, передвигался ли вообще, вроде, и не двигалось для меня время, застыло, липкое какое-то... Однажды мне Нагиев говорит, поезжай, говорит, в аэропорт, приятеля одного из Одессы надо встретить. Надо так надо, я и поехал. Ну, встретил я его, парень оказался яркий, шустрый, весь модный, веселый. Перетащили вместе с носильщиком все его чемоданы в машину и поехали. У Нагиева уже сидели две девки – когда только успел? – и все трое чуть косые. С одесситом Нагиев обнялся, расцеловался, ну, и тут же пошла гульба. Я хотел было уйти, но Нагиев попросил остаться, выпить с ними, я и остался, тем более, что спешить мне было некуда, мама уже неделю, как выписалась из больницы, и пока чувствовала себя – тьфу, тьфу, не сглазить – неплохо. Мы пили водку, была икра, швейцарский сыр, который так любил Нагиев, маслины, грибы, маринованные баклажаны, осетрина на вертеле, кутабы. Потом пили шампанское. То Нагиев, то одессит время от времени уединялись с девочками в спальне, причем, каждый с обеими сразу, и когда уходил с ними одессит, то через некоторое время из спальни доносился визг и рев, отчего Нагиев пьяно мрачнел, а потом вдруг поднялся из-за стола и стал приставать к

вернувшись из спальни Игорю, одесситу, допытываясь, почему девки врут, говорят, что с ним хорошо, а сами молчат, тогда как с одесситом визжат от удовольствия. Да разве в этом дело? – сказал Игорь и уселся за стол. Девочки стали хихикать, а он, то есть, Нагиев, расвирепев, стал прогонять их, стараясь содрать с них свои халаты, что они нацепили, а когда они переоделись и стали требовать, что причитается, то он швырнул, вытолкав их на лестничную площадку, вслед им деньги. Игорь, догнав девочек, тоже расплатился, а когда вернулся, Нагиев, уже доведя себя до кипения, был очень зол на него и искал к чему бы придраться. Выпили еще и слово за слово, припоминая друг другу старые обиды, они сцепились, я вскочил, чтобы разнять их, но Нагиев грубо отстранил меня, велел не соваться не в свое дело, схватил Игоря за ворот, потрянул и оттолкнул от себя. Оттолкнул он Игоря не сильно, но тот, пьяный, упал. Нагиев, не обращая на него внимания, сел за стол, отдуваясь, стал пить пиво, я приподнялся с дивана, чтобы посмотреть, почему это Игорь не встает и, подойдя к нему, заметил, как медленно стекленели его глаза. Эй, – сказал я Нагиеву, – посмотри. Отстань, – огрызнулся он и добавил, – он что, заснул там? Я расстегнул Игорю рубашку, приложил ухо к его груди – в Афганистане я научился распознавать еще тлевшую в человеческом теле жизнь – сердце не билось. Игорь упал, ударился виском об острый край буфета, висок его был вдавлен, височная

кость проломлена, оттуда тонко струилась кровь. Парень был мертв, мертвее не бывает, черт возьми, и первое, что я подумал, что попал в дерьмо, почище, чем все остальное в моей прежней жизни. Я поднял голову – надо мной стоял побледневший, как полотно Нагиев. Он мертв, – сказал я, – ты убил его. Почему я сказал эти абсолютно ненужные и очевидные слова, не могу точно вспомнить, может, немножко уже предчувствовал, что за тем последует и хотел в какой-то мере оградить себя этой бесполезной констатацией фактов? Хмель, кажется, мигом соскочил с Нагиева. Спокойно – сказал он вдруг, и в самом деле выглядел довольно спокойным, если только не принимать во внимание сильную бледность, которая не сходила с его лица, – надо все обдумать. Мы сели за стол. Игорю мы уже ничем не могли помочь, уж я-то в жмуриках разбираюсь, если б оставалась хоть малейшая надежда, я бы тут же кинулся названивать в «скорую». Но он был мертв, и никакая «скорая» не в силах была его воскресить. Вот что, – вдруг проговорил Нагиев тоном человека, все решившего, помедлил немного и сказал, – ты это дело возьмешь на себя. Мне показалось, что я ослышался. Я даже удивиться не успел такой наглости, а он мне уже все объяснял по пунктам, доказывал, почему так, как он хочет, будет лучше для нас обоих, а в сущности, конечно, уговаривал. Я поздно понял, что меня уговаривают, и к своему несчастью, стал прислушиваться к словам Нагиева, вставляя только время

от времени с глупой, растерянной улыбкой: «Ты что, с ума спятил?», «Ты с ума сошел?», что, конечно, не могло считаться антидоводом против Нагиевских доводов. Во-первых, – говорил Нагиев, не обращая внимания на мои содержательные реплики, – во-первых, ты участник войны – раз, награды – два, инвалид войны – три, непредумышленное убийство, я свидетель (тут я задохнулся от возмущения: он, видите ли, свидетель) – четыре, – невозмутимо продолжал Нагиев, – хороший адвокат, это уже мои проблемы, – милостиво добавил он, – пять, учитывая все эти козыри, дадут мало, точно тебе говорю, много не дадут, я все сделаю, а теперь слушай меня внимательно, – сказал он каким-то ледяным, почти угрожающим тоном, и я на самом деле стал слушать его внимательно, даже про реплики свои забыл, – вот что, – сказал он, – за каждый год твоей отсидки я даю тебе семь кусков, то есть шесть косых в месяц, ни тебе, пока ты меня не знал, ни твоей матери такие деньги не снились, поди заработай шесть сотен на своей стройке сторожем. Единовременно даю тебе пятнадцать кусков, чтобы, пока ты будешь загорать, твоя мать не нуждалась, кроме того, буду о ней заботиться, все, что ей нужно – сделаю, ты меня знаешь. Остальные бабки получишь после срока, как только выйдешь. Он сделал паузу, и тут я совершенно машинально вставил в эту паузу свою уже излюбленную реплику: «Ты что, с ума сошел?». Он молча несколько секунд смотрел на меня. Нет, он, конечно, не был похож на сумасшедшего.

А теперь слушай меня еще внимательней, – сказал он, помолчав, – и постарайся шевелить мозгами. Ну, – сказал я. Если не берешь дело на себя, я, естественно, полетел, но обещаю тебе: сделаю все, чтобы ты пошел соучастником убийства, какие у меня связи, ты кажется уже знаешь, мне будет нетрудно поделиться с тобой сроком. Я прихватчу тебя с собой, обещаю тебе это так же твердо, как до этого обещал тебе бабки за отсидку. И если мы оба подзалетели, тогда после срока ты – голодранец, как и прежде. Тут мне захотелось пристукнуть его, я вскочил сжав кулак, но он хмыкнул, отвернулся от меня и равнодушно обронил – «Дурак». Я опустил на место. Посидели молча. Ну, – сказал Нагиев. – Мне надо подумать, – сказал я. Думай, – сказал он, – надо решать сейчас же. Я подумал, мне даже понравилось, как я хладнокровно могу взвешивать все «за» и «против»; то, что он прихватит меня с собой – это точно, ему это ничего не стоит. И тогда мама останется почти без средств, одна. Если я беру у него пятнадцать кусков и оставляю матери – это уже лучше, чем ничего. Выйду – возьму у него остальное, как договорились, и, уже имея деньги, может, смогу устроить себе дальнейшую жизнь, развяжусь с ним раз и навсегда, заживу уже без беготни по его делам. Да и разве в тюрьме мне будет хуже, чем в Афгане, что там может быть такого страшного, чего я в Афгане, на войне не повидал? Я, мне казалось, все взвесил. И сказал – да, согласен. Я согласен, – сказал я, – давай

пятнадцать кусков сейчас же. По рукам? – сказал Нагиев. Сказал же: согласен, – проговорил я, не подавая ему руки и не замечая его протянутую. А что же руки не подаешь? – спросил он подозрительно. Потому что мне противна эта сделка, – ответил я. Ладно, – сказал Нагиев, – только предупреждаю, с нами шутки не шути. Мы знаем, где живет твоя мама, так что, смотри, если хочешь обмануть, заранее предупреждаю – выкинь из головы. Я и не брал в голову, – сказал я, – а про маму мою, чем меньше будешь вспоминать, тем здоровее останешься. Ладно, ладно, – говорит, – не кипятись, это я предупредить только. Он ушел в спальню и вынес оттуда пачки денег, Пятнадцать, – сказал он, – ровно, будешь считать? Нет, – сказал я, – но остальное потом, как выйду. Как договорились, мое слово железное, ты знаешь, – говорит, – за каждый месяц – шесть косых, сколько бы ни отсидел. Да ты не пугайся, это я так сказал, а вообще-то, точно тебе говорю – больше пятерки не получишь, ну, может, от силы лет шесть, да и то половину скостят под амнистию, вот увидишь, так что, еще моли бога, чтобы я тебе помимо этих пятнадцати кусков должен остался, боюсь, как бы ты сам мне не задолжал, не пришлось бы разницу возвращать, – говорит. Ну, последнее, ясное дело, он для красного словца, для того, чтобы меня успокоить сказал. Разговорился на радостях, что такого болвана, как я удалось облапошить, уговорить на такое гиблое дело. Да, впрочем, оно и для меня было гиблым, мне бы не

ответиться, возьмишь он меня под статью протащить. Ну, ладно. Была уже ночь, я поехал домой, спрятал деньги в кухонном шкафу (кому придет в голову грабить такую квартиру, как наша с мамой?), оставил маме записку, что уезжаю в другой город, чтобы сразу не пугать – все равно она узнает, будут вызывать, ясное дело, но что же мне было ей написать, что человека убил, а деньги за это полученные тебе, мама, оставляю? – написал, что буду письма слать, пусть не беспокоится, все у меня хорошо, написал, что деньги, что она обнаружит, это мои деньги и, следовательно – и ее, они не ворованные, и потому, прошу ее тратить их на себя, пока меня не будет дома, что, впрочем, соответствовало истине – не украл же я их, в самом деле, а буду отрабатывать, расплачиваясь годами своей жизни, и как же их тогда и называть, как не заработанными? Потом тихонько подошел к изголовью спящей мамы, поцеловал ее осторожно (в какой-то миг мне вдруг захотелось разбудить ее, захотелось, чтобы она проснулась и я бы ей все рассказал, может, поплакал бы, если б смог, положив голову ей на колени, но сумасбродная эта мысль продержалась, к счастью, недолго) и вышел, заперев дверь своим ключом и кинув ключ в раскрытую форточку прихожей. Наша с мамой квартира была на первом этаже старого, довоенной постройки дома и все соседи тут, во дворе хорошо друг друга знали и любили повторять, что близкий сосед лучше дальнего родственника, и старались на деле это доказать,

потому я в какой-то мере был спокоен за маму, знал, что соседки не оставят ее совсем одну, но какая бы от них ни была помощь, это не исключало того, что средства к существованию она непременно должна была иметь. Шел я по ночной улице и, помню, когда выходил на проспект, возле цирка, чтобы поймать машину, вдруг совершенно непонятно и неожиданно для себя подумал – как давно мне не приходилось бывать в цирке, наверно, с самого детства, а ведь цирк я люблю без памяти, в детстве каждое посещение цирка, обычно с покойным отцом превращалось для меня в настоящий праздник, и мне тут же на улице, так вдруг захотелось пойти в цирк!.. Ну, ладно. Короче, поймал машину и поехал к Нагиеву, остановив ее, как он просил, за два квартала от его дома. Нагиев старался казаться спокойным, старался показать, что нисколько не сомневался в моей порядочности и честности. Мы с ним выпили, больше я, чтобы набраться смелости, и под утро я стал звонить в милицию... В общем-то, мы с Нагиевым, вроде, все учли. Все, кроме одного. Следователь и еще один сучонок на допросах избивали меня, били умело, профессионально, в основном, по голове и в живот, чтобы не оставлять следов, хотели из меня признания выбить. Я сразу понял, что нужно следователю. Он хотел, чтобы я взял в соучастники Нагиева, на котором он мог бы неплохо нагреть руки. А с меня что возьмешь? Гол, как сокол. Ну, и били же меня, гады, но я выдержал, не сломался, и, наконец, вынуждены

были передать дело в суд, как дело о непредумышленном убийстве, Суд расценил дело, как несчастный случай с одним для меня отягчающим обстоятельством – я был пьян. Этот покойный Игорь тоже хорошим фруктом оказался, во всесоюзном розыске находился, как аферист и тунеядец – вот люди, а, его ищут (только непонятно, как), а он из города в город разъезжает, разодетый, как попугай, да еще уйму чемоданов с собой таскает. Это, по моему, тоже сыграло для меня свою маленькую положительную роль. Короче, Нагиев как в воду глядел, срок дали небольшой – пять лет трудовой колонии усиленного режима. Адвокат был хороший, толковый, Нагиев выполнил свое обещание, и многое, как он говорил, зачли мне: что инвалид войны, что награды имею и прочее, хорошо, хоть в этом помогли мои бывшие заслуги. Ну, значит, отправили меня в зону, Мордовская ССР, пишите письма, ау! Вот так я и оказался в колонии, не успев еще как следует отдохнуть после Афганистана. Да, хлебнул за свои двадцать пять... Мне и войну вспоминать не хочется, страшно становится, до сих пор сны афганские снятся, будто наша часть готовится к бою, или едем, колонна БТР в долине мимо проклятых гор, затаившихся, страшных, где, как хорьки, душманы, обстреляв колонну, мгновенно прячутся в сообщающихся пещерах, меняют месторасположение зениток, или, вижу, как, пройдя подземными ходами из обстрелянного нами селения, они неожиданно оказываются у нас за спиной, и мы

уже – в окружении, должны прорвать кольцо... Всклакивал в ужасе, от собственного крика просыпался... Порой удивляешься – неужели я наяву прошел через весь этот ад? Ну, ладно... Не хочется говорить об этом. Не представляю, как можно писать о войне? Разве, что через много лет, ведь даже вспомнить просто страшно... Или, может, я трус, или нервы расшалились?.. Ну, ладно... Короче, очутился я в зоне. В один из первых же дней после работы – отбой – вхожу в барак, устал, как собака. Я поначалу в стороне от всех держался, ну, ясно, про меня, тут все, кому надо, всю подноготную знали, по какой статье и какой срок тяну, но я, все еще, по всей видимости, для некоторых оставался темной лошадкой. И вот, кажется, решили прощупать, что я из себя представляю, фраер зеленый или блатной. С койки у окна, в центре барака – место считалось почетным – когда я глянул в его сторону, молча поманил меня пальцем зек лет сорока на вид, здоровенный бугай с лошадиной мордой. Я подошел. А рядом с ним стоят двое, щерятся, видно, предвкушают представление. «Ты чего такой?» – спрашивает меня лошадиная морда. «Какой такой?» – говорю. «Некультурный какой-то, – говорит лошадиная морда и прибавляет ласковым голосом. – Ну-ка, скидай обувку»– «Это еще зачем?» – говорю. «Скидай, скидай, – говорит зек рядом с лошадиной мордой, – когда сам пахан велит. А то и вторую руку оторвем». Я понял, что если сейчас же не поставит точку над их мелкими издевательствами, то

они неминуемо перерастут в дальнейшем в крупные. «Ну что ж, – говорю, – если сам пахан велит, делать нечего». И снимаю ботинки. А он, вижу, пахан этот, подмигивает своим ребятам, те меня аккуратно отодвигают от него, а пахан снимает штаны и говорит мне, ты понимаешь, говорит, поссать захотелось, а до параша идти неохота, так там некультурно воняет. Вытащил, значит, помочился, я, было дернулся к нему, да тут же меня оттолкнули, а потом зовет меня, снеси, говорит, выбрось в парашу, я и подошел, ребята пахана посторонились, пропуская меня, а весь барак наблюдает за потехой, подошел я, значит, нагнулся мирно, спокойно, а сам весь вскипаю изнутри, взял ботинок осторожно, чтобы не пролить его мерзкое содержимое и с размаху надел на голову пахану, никак не ожидавшему от меня подобной дерзости, нахлобучил изо всех сил на его голову, благо, головка у него была маленькая, раза в два меньше, чем его же кулаки, ботинок мой ему впору пришелся, по самые уши налез, ну, и моча, естественно, оросила обильно его лошадиную морду, что и требовалось доказать. Орясин пахана я вмиг раскидал – вот где моя афганская подготовка пригодилась – достал их пару раз ногами, они и отключились, любезные, со своими кастетами, а с самим паханом пришлось повозиться, он, сука, нож вытащил, да и опытен был в драке – голыми руками не возьмешь – пришлось попотеть; этот пахан оказался крепким орешком и, несмотря на свой уже немолодой

возраст, от ударов моих очень ловко увертывался, и сам нередко бил меня смертным боем, стараясь попасть в голову или поддых. Нож я у него сразу отбил, почти в начале драки, и теперь мы были на равных. Бился я с ним, в основном, головой и ногами, руку как бы про запас держал, и когда он, казалось, вовсе забывал о том, что у меня, хоть и единственная, да все же есть рука, я неожиданно пускал ее в ход и, порой, очень удачно, но свалить, сбить его с ног мне почти не удавалось, или же сбивал, но он моментально поднимался вновь, впрочем, и ему не удавалось сбить меня; отдышавшись, мы вновь кидались друг на друга, уже оба сильно избитые, усталые, рожи – в крови и ссадинах. Попыхтел я с ним, короче, чуть ли не до рассвета, ни один зек в бараке не вмешивался в наши дела, некоторые, кажется, даже спать улеглись, которые преимущественно на верхних койках, потому что шуму, в общем-то от нас было немного. К утру мы оба еле дышали, приближались друг к другу, цепляясь за стены, но мне удалось собраться и вмазать ему по его лошадиной морде головой своей свежесбритой, он полетел на несколько шагов и упал на пол, так и остался лежать, где упал, потерял сознание, Да и я, честно говоря, был близок к потере сознания. Ребята пахана давно проснулись от спячки, в которую я их послал, но тут – потом мне говорили – кое-кто вмешался и их не подпустили ко мне, решили: пусть один на один выясняют между собой, это про нас, то есть. Даже эта драка, продолжавшаяся

несколько часов, не убавила во мне злости за нанесенное оскорбление, за все безответные оскорбления, нанесенные мне, не убавила, да и не могла убавить всей накопившейся во мне злости. Я оттащил пахана к параше – тут возникли его дружки, но я уже завладел ножом пахана и кинулся к ним, готовый распотрошить любого, они, может что-то заметили в выражении моего лица, страшное было, наверно, лицо у меня, и они не стали вмешиваться – ну, оттащил, значит, я пахана к параше, стал над ним, еле переводя дыхание, и помочился – на его изуродованное лошадиное лицо. Он так и не очнулся, а я пошел, вернее, почти пополз к своей койке и упал на нее, дальше не помню ничего. Конечно, начальство потом дозналось про все, даже дознаваться не надо было, одни наши рожи красноречиво обо всем говорили, я отсидел в карцере тридцать положенных суток, но, когда меня выпустили и я вернулся в барак – как в дом родной, честное слово, таким он мне показался уютным и желанным после карцера – когда, значит, вернулся, паханом тут уже был я, и хоть меня и прозвали здесь одноруким, что было, впрочем, вполне естественно, теперь это слово все произносили с уважением. Мне, однако, вовсе не нужно было предводительствовать тут, не этого добивался я в драке с паханом, единственное, чего я хотел, чтобы меня оставили в покое, дали бы спокойно дотянуть срок и вылезть отсюда. И этого я, вроде, добился. Пахан после своего позора хотел в карцере порешить себя, да ничего не вышло, нечем что ли

было, не знаю, мне наплевать на это, не позорь других и тебя не будут позорить, вот что я знаю. В дальнейшем мой срок в зоне проходил без особых приключений, если не вспоминать разные случаи по мелочам, и насколько можно в таком месте прожить без приключений. Конечно, было всякое. Приходилось во многое вмешиваться, раз уж признали меня авторитетом, восстанавливать справедливость, которая, надо сказать, здесь совсем не в том понимании, как на воле, справедливость в рамках законов здешних, зековских, и потому все мои вмешательства в дела имели предел, потому что, как на воле нельзя нарушать закон, так и здесь, какой бы ты ни был авторитет, нарушать его тебе не позволено, а нарушишь – вмиг слетишь с авторитетства своего и прямо в говно. Тюряга имеет свои законы, короче, и через них не перешагнешь, я это на своей шкуре испытал, когда однажды хотел предотвратить изнасилование блатными новенького, который тянул срок за то же самое, что с ним сотворить собирались. Ты же видишь, что это сука, – сказали мне в бараке и это оказалось верно, парень на самом деле, был трусливым и подлым, и в дальнейшем стал стучать лагерному начальству, и я тогда понял, что это именно тот случай, когда нельзя вмешиваться, с ним все равно сделают, что задумали, дождавшись, какнибудь моего отсутствия, а я буду выглядеть охломоном и ффраером. Правильно я сделал еще потому, что парень оказался неожиданно завзятым педом, и я просто рисковал поставить себя в смешное

положение. Одно время, поначалу вступили со мной в контрду беспредельщики, но, убедившись, что я не хуже них отчаянный и на беспредел их мне начхать, отступились, и после первого конфликта мы уже не портили друг другу житуху. Но в зоне я много понял, век воли не видать, ей богу, а главное, понял то, что никакого преступника тюряга не исправляет, а наоборот, озлобляет еще больше, и что самое страшное, случайно сюда попавших людей зачастую делает отпетыми, а случайных тут было – пруд пруди. У нас в бараке был учитель один, у которого нашли там какие-то рукописи и сочли их подрывающими основы, а он, фраер, так не считал и даже по редакциям их рассылал, сам мне рассказывал. Был еще один профессор, химик, пьяного сбил на машине. И еще один был директор школы, но тот по делу сидел, за взятку срок припаяли, аттестаты отличные продавал по пять косых штука, ну его и взяли с вещуликой – пятьсот, аккуратно переписанных у ментов. Жалко мне было интеллигентов, какие-то они все беззащитные, мягкие, я, сколько мог, брал их под защиту. Ну, что еще?.. О зоне можно много вспомнить, да неохота, не в этом дело, сюда я ведь по собственной воле попал, не сладко тут, конечно, но хуже всего здесь безвинно осужденным, представляю, какая обида должна их грызть, что они должны переживать, это же можно вовсе разувериться, что есть справедливость на свете. Ну, ладно... Вышел я раньше срока – под амнистию попал к ноябрьским праздникам восемьдесят четвертого года –

это тоже рассчитал гаденыш – Нагиев. И вот, оказался на воле. Это после зоны какое-то непередаваемое ощущение, век свободы не видать! Казалось, что теперь уже все плохое позади, а впереди должны быть одни радости, ну, в самом деле, разве мало хлебнул я на своем веку? Однако, я, видимо, упустил из виду главное – радости надо было делать своими руками, в моем случае, своей рукой... Ладно. Рад, конечно, домой еду, жду встречи с мамой, по ней я соскучился жутко и поволновался немало, хоть и переписывались с ней часто, думал-передумал о ней я там, аж мозги раскалялись, жалко мне ее было – хоть плачь, чего она только не перенесла, не вытерпела из-за меня, ждала с войны, ежедневно помирая со страха, ждала из тюрьги, состарилась раньше времени, все глаза выплакала, бедная, и тогда я дал себе слово там, в зоне, что, если выйду, то есть, когда выйду, сделаю все, чтобы она не нуждалась ни в чем, хватит победствовала, все сделаю, чтобы жила нормально, ни в чем отказа не будет знать, чтобы мне сдохнуть, иначе, какой же я сын, век воли не видать? Еду, значит, смотрю из окна поезда на поля, пустые степи, небольшие лесочки попадаются, и как ни увижу какое-нибудь живописное место – думаю, вот бы хорошо тут домик построить и жить с мамой подальше от всех, а что, разве плохо, живи тут, горя не знай, не то, что в городе, в болоте людском, где так и норовят унижить, оскорбить, наплевать в душу, подвести под монастырь, где на каждом шагу вынужден держать себя в руках, чтобы не заехать

в морду оскорбившему твое человеческое достоинство... Мама когда увидела меня, чуть сознание не потеряла от радости, хоть я и писал ей, что возвращаюсь. Я подхватил ее, усадил на диван, накапал ей валокордину. Немного пришла в себя и стала тихо плакать. Ну, что ты, мама, – говорю, – все же хорошо, что ты, успокойся, родная... Она, конечно, здорово сдала, постарела еще больше, болезни замучили, со зрением стало хуже, да и моя биография её здоровья не прибавила. Конечно же, она и на суде была, и жалобы писала, рассылала во все инстанции куда только можно было, вплоть до генерального прокурора страны, писала, что сына ее оклеветали, заставили взять на себя убийство, что он не может быть убийцей даже случайно, просила в письмах, чтобы тщательнее разобрались в этом (вот следователь и разбирался, выколачивал из меня правду, ну, ладно, дело прошлое), из сил вся выбивалась, пока я отсиживал свой срок. Но я вышел, говорю ей, я с тобой и все хорошо, мама, теперь все будет хорошо, все плохое уже позади. Потом, когда все главное было сказано, основные разговоры были переговорены, она меня о деньгах тех спросила. Я говорю, одно могу тебе сказать: деньги эти не ворованные, они принадлежат мне, а значит и тебе, я ведь в записке своей писал об этом. Я знаю, говорит, я сразу этому поверила, когда прочитала твою записку, знаю, что ты не обманешь, что не украдешь, но откуда, откуда у тебя столько? Не спрашивай, говорю, я тебе сказал – не ворованные, и это

ведь главное, правда? Я боюсь, говорит, боюсь, как бы ты снова не попал в дурную компанию, как бы не остутился, большие деньги нам ни к чему, говорит, что с ними делать?.. Тут я, зная мамин характер, наивный и бесхитростный, насторожился, но ничем этого не выдал, ничего не сказал, ждал – сама все скажет, что надо. Ну, конечно, вскоре призналась, что десять тысяч Акраму отдала, Зачем? – спрашиваю. Она стала заметно волноваться, сразу убеждать меня принялась, будто я о чем-то с ней спорил и не соглашался, я же просто спросил, я ведь ничего, но она так разволновалась, что я пожалел о заданном вопросе. Выяснилось, что Акраму срочно понадобилось покупать квартиру, даже не квартира это была, а домик в пригороде со своими маленьким участком и садиком, потому что в старой квартире, где они жили, была ужасная сырость и двое детей уже болели ревматизмом. Ну, что на это возразишь, ничего, конечно, родной брат взял деньги на такое нужное, можно, сказать жизненно необходимое дело – речь ведь идет о здоровье детей, а что может быть важнее этого? Все правильно, говорю, все правильно, мама, одно не могу понять, почему он вспомнил о тебе именно тогда, когда у тебя появились деньги? Ничего подобного, говорит мама, она даже испугалась, услышав мои слова, мне показалось, что она ожидала, что я скажу что-нибудь в таком духе, видимо, и сама думала об этом. Ничего подобного повторила мама, опять приходя в сильное волнение, – просто он

написал мне письмо, откуда ему было знать, что ты оставил мне деньги, откуда ему было знать вообще, что у нас тут творится? А оттуда, – говорю, начиная кипеть, – что я из зоны отослал ему в самом начале одно письмецо, чтобы он не оставлял тебя без внимания, пока я там, вот он и не оставил. Да мне много ли надо? – говорит мама, – Одно нехорошо вышло: деньги, получается, без твоего разрешения я отдала, деньги ведь твои, я уже писать хотела тебе об этом, спросить разрешения, можно ли отдать, а тут как раз твое письмо получила, что возвращаешься, это ведь совсем недавно я отдала ему деньги, с месяц, наверно, или полтора назад, и, думаю на радостях, ну, что, думаю, Рустам, слава богу, возвращается, проживем как-нибудь, главное, что деньги эти честные, не ворованное, а как же сыну родному отказать, если у него такое серьезное дело? А он ведь и не просил у меня, просто написал большое письмо, где подробно спрашивал, не нужно ли мне чего, а заодно и о своих делах и неприятностях сообщил. Ведь может же быть такая минута, когда захочется написать матери большое письмо, будто всласть поговорили по душам, правда? Да, говорю, может быть такая минута. Ну вот, заметно обрадовалась мама, и он написал, заодно уж сообщил, что домик продают за десять тысяч, в пригороде, воздух там чудесный, детям хорошо будет, а так они болеют, он уж и не знал, как быть. А я в ответ написала, что могла бы дать ему эти деньги, но что деньги твои, и я должна спросить у тебя

разрешения, и лучше будет если он сам за ними приедет, за деньгами, то есть, потому что по почте такие деньги отправлять мне страшно, потеряют вдруг и вообще, если спросят, откуда у меня, что я скажу? Он и приехал, с сыном приехал, – с гордостью уточнила мама, будто то, что ей привезли показать внука, одного из внуков, точнее, ей прежде следовало заслужить, и вот она горда, что заслужила это, – погостили два дня, похудел, бедный, тяжело ему приходится, – тут мама вздохнула, помолчала немного, потом продолжила, – седых волос у него полно, я и не видела, как он начал седесть, вся голова почти седая... Ну, вот, погостили, значит, и уехали. Сказал, что обязательно вернет, чтобы ты не беспокоился, и говорит, не брал бы у меня, если бы не острая необходимость – дети болеют, им, говорит, во что бы то ни стало со старой квартиры съехать надо, нельзя оставаться в такой сырости, болезнь обострится. Причина нешуточная, Рустам, сам видишь. Мы ведь с тобой не пропадем без этих денег, а, Рустамчик, верно ведь? Не пропадем, – говорю, – бог с ними, мама, с этими деньгами, ты так говоришь, будто оправдываешься, а это ведь твои деньги, я же писал тебе, чтобы ты тратила их, как тебе нужно. Расскажи лучше о себе, как ты жила это время? Как я могла жить, – говорит, – сильно скучала по тебе, беспокоилась, дважды в больнице лежала пока тебя не было, соседям спасибо, очень помогали, ох, если бы не они, не знаю, что бы и делала, кто на базар ходит, кто за хлебом, кто в аптеку, кто

«скорою» вызовет, ноги у меня совсем никудышные стали, пухнут в пухнут, что с ними будешь делать, к ночи болят, обычно... Ну, не буду тебя своими старческими болячками пугать... Да! Чуть не забыла, у меня еще осталось целых четыреста рублей! Эх, мама, – говорю, – что такое в наше время четыреста рублей? Для некоторых это карманные деньги, которые они могут истратить в одну минуту. И тут же спохватился, что зря я это сказал, не подумал, честное слово, без всякой задней мысли сказал, машинально выговорилось, а мама, смотрю, помрачнела, наверно, приняла, как упрек себе. Я глупость сказал, – говорю, обнимая ее за плечи, – не обращай внимания, мама. Подальше бы ты от таких людей держался, сынок, – говорит. От каких таких? – удивился я. От тех, кому четыреста рублей в одну минуту потратить ничего не стоит, – говорит, – не доведут они тебя до добра. Э-э, – говорю, – за меня не бойся, я теперь ученый, битый-перебитый и осторожный... А ночью, когда уже спать ложился, она подошла ко мне и спрашивает: Ты очень огорчился, – говорит, – что я деньги, десять тысяч твои Акраму отдала? Нет, – говорю, – я уже забыл, – я и вправду почти забыл об этом, потому что за Нагиевым, как мы с ним условились еще был небольшой должок, немного, правда, набегало, но для меня сейчас это были немалые деньги, и эта мысль про долг немного успокоила меня и я на самом деле стал забывать о деньгах, отданных Акраму, какая разница, если скоро я должен был быть при бабках?

Не огорчайся, сынок, – говорит мама, – ведь он твой родной брат, вы должны помогать друг другу, поддерживать, когда кому-то из вас плохо. Да, – говорю, – ты права мама. Но он обязательно вернет, – говорит мама, – он обещал, сказал, что вернет частями. Если б не это, я бы сохранила для тебя, мне много ли надо, больше пятерки в день у меня не уходило, только вот в больнице два раза пришлось дать немного, если бы не острая нужда Акрама в этих деньгах, я бы сохранила их для тебя. Не думай об этом, мама, – говорю, – отдала и правильно сделала, что ты оправдываешься, честное слово... Она помолчала, потом говорит – оправдываюсь потому, что для таких людей, как мы с тобой, сынок, деньги трудно достаются, их ценить надо, особенно, если они заработаны честно... Конечно, честно, – говорю, – не сомневайся. Я не сомневаюсь, сынок, – говорит, – я всегда верила тебе, и тебе, и Акраму, и очень хочу, чтобы вы поддерживали друг друга, вы же родные братья, нельзя забывать об этом. Ну, спокойной ночи, Рустам. Спокойной ночи, мама. Вышла из комнаты. Поддерживать друг друга. Да, думаю, хорошо он меня поддержал в трудную минуту. Старший брат называется. Хотя что он мог? Я те оправдания мамины еще потому запомнил так подробно и весь разговор о деньгах, что мне, честно говоря, обидно немного стало, если б она еще на себя потратила – дело другое, а тут, выходит, за что я в зоне ишачил? Хотя с другой стороны – дети болеют, крыша над головой нужна, первое дело это – тоже понять можно.

Мне запомнилось, как мама за весь этот разговор изо всех сил старалась создать у меня доброе впечатление об Акраме, внушить мне, что он хороший человек, и мы должны с ним сблизиться. Короче, на большую дыру хотела маленькую заплату поставить. Да и как с ним сблизиться, когда он годами не подавал вестей о себе? Мы с ним давно успели стать чужими друг для друга. И разница в возрасте тоже, если б хоть в детстве дружили, а так из детства, что касается Акрама, помню только, как он покрикивай на меня, поучал и награждал подзатыльниками. С тем я и заснул, и наконец-то, за много дней, а вернее, ночей спал спокойно, без кошмарных сновидений. На следующий день я отправился к Нагиеву. Принял он меня хорошо, даже, по-моему, обрадовался, что я вышел, стал угощать дорогим коньяком, сигаретами, но был как-то необычно немногословен, и по всему можно было почувствовать – это уже был не прежний Нагиев-фарцовщик, хоть и крупный, но все же всего лишь спекулянт, цыпленок пареный, теперь это был почти во всем другой человек, говорил не спеша, тщательно взвешивая слова, не хохотал и мало, скупо улыбался, и взгляд у него был такой, ну, будто смотрит он и не видит тебя, и в то же время усиленно, лихорадочно обдумывает, как бы ему тебя использовать, что еще из тебя можно выжать. Он подробно спросил меня, как я сидел, не завел ли там ненужных знакомств, все ли хвосты в зоне обрубил за собой, не станут ли выходить на меня дружки-приятели по

зоне, расспрашивал не хуже заправского следователя. Да, изменился Нагиев, что и говорить, мне это сразу бросилось в глаза, он даже обстановку в квартире поменял, квартира была теперь обставлена хоть и по-прежнему богато и, может, даже еще богаче, но без крикливости, строже, не было прежней нахальной яркости, дорогих безделушек, огромных фотографий половых актов, развешанных по стенам в спальне. Короче, все эти изменения, пожалуй, говорили о том (я это почувствовал только) что Нагиев, верно, взлетел еще выше, может, в опасные, рискованные выси; я, конечно, не знал, да и знать не хотел, чем он занимается, я пришел по своим делам, и когда на очередной мой какой-то незначительный вопрос он опять надолго замолчал перед ответом, надулся, как мышь на крупу, видимо, в претензии, что я вообще смею тут задавать вопросы, мне все это порядком осточертело и я ему тут же не очень вежливо брякнул, что он может не отвечать, а пришел я потому, что за ним должок, и пусть он подсчитает и вернет мне оставшиеся деньги, и я не буду ему мешать сидеть с глубокомысленным видом. Да, – сказал он, – я не забыл про долг, с меня еще кое-что причитается, это долг чести и я его отдам, можешь не волноваться. Да я и не волнуюсь, – говорю, – мне-то что волноваться, пусть волнуется тот, кто отдавать должен, я же теперь только радуюсь, что при бабках буду, что получу свои, в буквальном смысле, потом и кровью заработанные деньги, ради которых

отишачил в зоне. Однако, мое ядовитое замечание не было оценено должным образом и повисло в воздухе между нами. Он снова стал задумчив и вдруг заговорил. Слушай внимательно, – говорит, – ты – парень надежный, уже проверенный, и только потому я это говорю тебе, ты мне теперь во многом можешь помочь, если захочешь, бабки ты свои получишь, об этом не думай, подумай лучше о другом: у меня теперь ты можешь вполне прилично подрабатывать, и если тебе нужен постоянный хороший заработок, считай, что ты его уже имеешь, если же тебе больше нравится работа и нищенская зарплата ночного сторожа – дело твое. Что я должен делать? – немного подумав, видно, заразившись глубокомысленным молчанием Нагиева, спросил я. Там видно будет, – неопределенно ответил Нагиев. Я должен знать точно, – стал настаивать я, и фраза получилась какой-то вызывающей, хотя я не стремился говорить таким тоном. Он пристально посмотрел на меня. Ты говоришь со мной неподобающим тоном, – изволил он, наконец, открыть рот, – не забывай, что я тебе даю работу, а не ты мне. Кроме того, ты должен еще помнить, что мы с тобой теперь крепко связаны, – говорил он такими грамотными, округленными фразами, что заслушаться можно было, прямо, речь с трибуны, а не разговор по душам, и в этом тоже ощущалась разительная перемена в Нагиеве, раньше он не особенно церемонился в выражениях и порой, когда злился, речь его состояла из одного отборного мата. Однако,

увлекшись формой, я забыл о содержании. А содержание было довольно-таки интересным, он явно клонил куда-то, и вскоре высказал это ясно, без обиняков; он продолжал, – Ты сам подумай: кому ты теперь докажешь, что одессита убил не ты, а?! Так, что советую тебе знать свое место. И не рыпайся... Сказал он это вовремя, потому что именно в эту минуту, когда до меня дошел смысл его слов про одессита, когда он фактически назвал меня убийцей, я вскочил, рванулся к нему, чтобы взять его за горло, но рука моя застыла на полпути к нагиевскому горлу, потому что заползла в голову подленькая мысль с подачи Нагиева – в самом деле, кому я теперь докажу, что убил не я, если сам я и признавался, что убил и стоял на этом? На мне крепкое клеймо убийцы, век воли не видать! Почему-то только сейчас эта мысль дошла до меня во всей своей гадкой наготе, прожгла сознание, хоть и много времени было у меня подумать об этом, но только сейчас, когда напомнил об этом человек посторонний, когда он ясно и недвусмысленно назвал меня убийцей, я был почти ошеломлен. Выпей, – сказал Нагиев, наливая в мою рюмку «Наполеон», – и хорошенько подумай, если ты жаждешь вернуться в свою сторожевую будку на стройке – дело твое, удерживать не буду, но советую крепко подумать, что ты теряешь. Я в институт поступать хотел, – пробурчал я в ответ рассеянно, сам не знаю, к чему я это сказал ему. В институт, – спокойно, без язвительности сказал Нагиев, –

что ж, это мысль. Даже если ты сможешь каким-то чудом поступить за те гроши, что я остался тебе должен, то окончишь через пять лет и будешь получать свои сто сорок, как раз хватит раза два на базар сходить. С чем тебя и поздравляю. У меня ты будешь иметь столько в два-три дня, понял, за три дня будешь зарабатывать столько, сколько твой дипломированный инженеришка за месяц получает, но если не хочешь, пожалуйста, иди, поцелуй свой диплом, он даст тебе возможность каждый день есть хлеб с картошкой... Он помолчал. Я рассеянно глянул на его полную рюмку. А почему ты не пьешь? – спросил я без особого любопытства, наверно, чтобы только нарушить тягостное молчание, наступившее после его слов. Он вяло махнул рукой. Изжога от коньяка, – сказал он, – потом всю ночь мучаюсь. Да все равно пью... Все-таки, что я должен буду делать? – спросил я опять, после небольшой паузы. В основном, в командировки ездить, – скучно ответил Нагиев. И это все? – спросил я, смутно подозревая, что говорит он мне не всю правду. Посылки небольшие перевозить, – сказал он. Я подумал. Это меня устраивает, – говорю. Еще бы, – говорит он, – еще бы это тебя не устраивало, вези себе небольшие посылочки и получай за это две-три косых за каждую поездку, неплохая жизнь, а? Ладно, – говорю, – Я пока тебе не нужен? Пока нет, – говорит он, – но послезавтра позвони обязательно, вот тебе номер, телефон у меня изменился, – он записал на листочке блокнота

номер и протянул мне. Я хотел было положить листок в карман, но он сказал, – нет, лучше запомни, я написал, потому, что так легче запоминается, посмотри немного и запомни. Прямо как шпион, – говорю. Запомнил? – спрашивает, – а теперь давай сюда. Я вернул ему листок, он смял его, бросил в пепельницу. Вообще-то, я не очень охотно согласился на предложение Нагиева, думал, пока стану помогать ему, а там – подзаработаю немного, долг свой заберу и соскочу, надо было устраиваться понадежнее, но пока мне было некуда деваться, походил немного между нагиевскими командировками, пробовал сунуться туда-сюда, на работу устроиться, смотрел объявления, шел по ним, если попадалось что-нибудь подходящее для однорукого, короче, обивал пороги, но куда там, как только узнавали, что срок отсидел и слышать не хотели ничего, пришлось устроиться кочегаром в котельной под одним многоэтажным домом, а там, конечно, зарплата – чтобы только не подохнуть с голоду, на остальное не хватает, ну и пришлось хитрить, ведь с одной стороны – участковый милиционер пристаёт, чтобы не сидел без работы, хоть к знает, что я инвалид войны и получаю пенсию, но тут он видно ради перестраховки начал собственную инициативу проявлять, решил, что буду сидеть без дела, опять что-нибудь натворю, вот под его нажимом и устроился в котельной; но так как это мешало моим поездкам, то есть, мешало вместо восьмидесяти рублей

получать в десять раз больше, то я и вынужден был пойти на хитрость: ушел из котельной, где осуществить мою мысль было бы невозможно, а устроился на стройку рабочим, предварительно договорившись с начальством, а конкретнее, с прорабом, чтобы он оформил меня, как «мертвую душу» и получал бы причитающуюся мне зарплату, а я буду время от времени наведываться на стройку на всякий пожарный случай. Ну, значит, оформили все честь честью, перед участковым нашим я отчитался, что устроился на стройку, где требовались однорукие рабочие – он, не понимая шуток, удивленно уставился на меня – и эта проблема, можно считать, была решена. Что касается учебы, то, честно говоря, у меня не было ни желания теперь, ни возможности учиться, и на что я выучусь, министром не стану, большим начальником не сделаюсь, так на черта мне это сдалось, чтобы как говорит Нагиев, промучавшись пять лет впроголодь, получать скромную, – более чем скромную, точнее – зарплату инженера или школьного учителя? Ну, учеба, хрен с ней, она не очень-то меня колышет, нужно только выбрать специальность доходную, поучиться и стать хорошим специалистом, скажем, мастером по ремонту холодильников или телевизоров, всегда прибыльное дело, или, скажем, зубным техником, можно здорово подрабатывать, ну, это, пожалуй, я перегнул, это не для меня, однорукого, но, главное, надо же, в конце концов, прилично зарабатывать. И я решил поошиваюсь немного

с Нагиевым, подзаработаю, и накопив денег, выучусь на хорошую, башлевую специальность. А вот порой думаешь, ну в самом деле, не век же мне кирпичи сторожить на стройке, разве нельзя было создать для калек в нашем городе нормальные условия, обеспечить их хорошей работой, ведь калеки – безрукие, безногие – они такие же граждане, как и двуногие и двурукие. Вот я передачу недавно видел по телевизору, как в Америке организывают для слабоумных детей спортивные соревнования. Разве это не гуманно? Даже по телевизору можно было заметить, как были они счастливы, какая радость была на лицах этих несчастных. Э, да что говорить, многому учиться надо, а не отпихивать от себя ногами, как у нас привыкли делать... Через день я был у Нагиева. Он передал мне портфель с шифровым замком, билет на поезд, вагон СВ и отправил в Ереван, дав двести пятьдесят рублей на непредвиденные расходы, хотя какие у меня могут быть непредвиденные расходы? Я у него так и спросил. Там видно будет, сказал Нагиев, и тут же, как мне показалось, чуть-чуть смешался, пожалел о сказанном. Мне бы в этот момент и насторожиться, и призадуматься, да ведь я лопух лопухом, пропустил его слова мимо ушей, вернее, не стал искать в них какой-то смысл, слова как слова, ничего особенного. Было начало лета, и я ехал в поезде с удовольствием, глядел в окно, даже, помню, был немножко счастлив в эти минуты, так что и забывал вовсе о том, что я калека. И вот именно в одну из таких минут из соседнего

купе вышла девушка примерно моих лет и стала в коридоре у окна. Мне она показалась красавицей, правда я, ясное дело, теперь не очень-то имел успех у женщин, да, впрочем, и раньше, до инвалидности я по этой части был не очень... Может, она потому и показалась мне красавицей, что в последнее время у меня со слабым полом был почти утерян контакт, и я каждую более или менее симпатичную женщину желал? Нет, она и вправду была очень миленькой. Молодость переполняла меня, я забыл про свой уродливый обрубок, спрятанный в подвернутый рукав рубашки, и смело подошел к ней, стал рядом. Она рассеянно глянула на меня, ветер задувал в окно и раскидал ей волосы по лбу, и я невольно залюбовался ею – да, она была красива, что и говорить – залюбовался и сказал ей неожиданно для себя: «Вам так идет». «Что?» – спросила она. «Волосы, – сказал я, – очень красиво вот так». «Как именно?» – спросила она, и взгляд ее вовсе не был неприязненным, к которым я в последнее время привык у девушек, если приходилось заговаривать с ними на улицах, или еще где. «Вот так, – сказал я, – растрепанно.» «Да? – сказала она, смеясь, – раз так, не буду причесываться». Еще раз коротко посмеялась, видимо, тоже от избытка молодых сил и неожиданно торопливо вошла в свое купе и захлопнула дверь. Тут я приуныл, ну все, думаю, сорвалось знакомство. И про обрубок свой, конечно, вспомнил. Это ее, наверно, и напугало, сначала заговорила из вежливости, а потом заметила и – шмыг.

Конечно, такая красавица, зачем ей калека нужен, когда молодых парней ей под стать кругом – завались, и у всех у них, здоровых, с руками и ногами и со всеми необходимыми причиндалами одно на уме: как бы поскорее вскарабкаться на какую-нибудь посмазливее. Зачем ей заводить знакомство с калекой? – думал я, вконец расстроившись и уже собираясь вернуться к себе в купе, когда вдруг дверь, за которой минуту назад исчезла она, с шумом распахнулась, и она, еще радостнее и ослепительнее улыбающаяся, вышла в коридор с яблоком в руках. «Хотите?» – спросила она, показывая мне большое яблоко, такое красивое, что вовсе и не было похоже на настоящее. Кажется, я неудержимо и очень глупо улыбался, не отвечая на ее вопрос – стоит ли говорить, как я был рад ее столь замечательному появлению? – так что ей пришлось уже более нетерпеливым тоном повторить свой вопрос. «Хочу!» – сказал я даже немножко с вызовом, что вот, мол, если это вопрос только ради приличия задан – то на вот, получай, и выходи теперь из положения, хотя мне вовсе не хотелось яблока. «Но ведь оно одно», – прибавил я тут же. Тогда она с ловкостью фокусника отделила одну от другой две равные половинки яблока, разрезанного предварительно и соединенного ради баловства. Да, она чуть дурачилась, ее тоже, как и меня, опьянил этот ослепительный день, быстрая езда и, может быть, сознание собственной упоительной и чарующей красоты. Когда она, подражая цирковым волшебникам, отделяла одну от другой

две половинки, она тихо, немножко даже, показалось, робко произнесла «ап», и это так мило у нее вышло, что я не мог удержаться и рассмеялся от радости от ее присутствия рядом со мной, взял протянутую мне половину и впился, как и она, зубами в сочную, пахучую мякоть яблока. Сквозь наш общий хруст мне удалось вставить «Вкусно!», чтобы она не сочла меня невежей. Хотя чувствовал я себя с ней очень раскованно, необычно я бы сказал, раскованно. Она, казалось, не понимала, что я инвалид, или просто не хотела замечать, хотя не заметить это было невозможно. Но она умела не замечать. Я и раньше, в юности был робок с девушками, хотя не мог бы пожаловаться на внешние данные – третий рост, сорок восьмой размер, ну и тому подобное – а после того, как ампутировали руку и вернулся с войны, вовсе стал чураться девушек, иногда только переспшишь с Нагиевскими девками за полтинник, чтобы хотя бы от поллюций избавиться среди ночных сексуальных видений, вот и вся, как говорится, любовь. Приличные девушки меня за версту обходили, впрочем, и я, заранее уверенный в фиаско, тоже их обходил, бесполезная затея и только. И вот сейчас эта очаровательная девушка рядом со мной в коридоре мчавшегося поезда, у окна, воспринималась мной, как нечто не совсем реальное. Но яблоко, что дала она мне, было вполне реальным, и мало того – вкусным, ее улыбка, звуки ее голоса, ее растрепанные живописно волосы, запах тонких духов от нее – все это было более, чем реальным. Все

же я, как во сне, тихонечко, будто боясь спугнуть, протянул руку и дотронулся до ее плеча. «Что такое?» – обернулась она ко мне с рассеянной полуулыбкой. «Ничего, – сказал я, – хотел убедиться, что вы еще рядом». «Я не люблю, когда до меня дотрагиваются», – сказала она, но каким-то очень естественным, располагающим тоном, без тени брезгливости, или высокомерия, как будто сообщала, что не любит слишком сладкий чай. «Простите меня, – сказал я. – Я не хотел, поверьте, так получилось. У вас столько родинок!» И в самом деле, на белой руке ее были крохотные, не крупнее веснушек и такие же неяркие родинки. «Да», – сказала она. «Будете счастливой», – сказал я. «Э-э! – сказала она. – Не говорите банальностей.» «Нет, – поспешно поправился я. – Я хотел сказать: будете счастливой – не забудьте поделиться, как этим яблоком». «Ха-ха, – сказала она, – как смешно. Падаю.» «Хотите шампанского?» – спросил я. «Я подумаю», – ответила она неопределенно. «Долго?» «Минут десять». «Ладно, – сказал я, – думайте.» Мы молча смотрели в окно, и через минуту я ей сказал: «Ваше время истекло. Что вы скажете мне, трепещущему?» «Трепещите дальше», – сказала она. «Как это понимать?» – спросил я. «Я согласна!» – сказала она, церемонно кивнув головой. Я поклонился ей, как шут гороховый – по правилам навязанной, или вернее, случившейся между нами игры – согнул свою оставшуюся руку и предложил ей. Она, опять же, очень естественно не замечая, что рука

единственная, оперлась об нее, и мы отправились в вагон-ресторан, где я заказал шампанского и плитку шоколада, так как выяснилось, что мы оба уже обедали. Я чувствовал с ней себя очень раскованно, и мы быстро подружились. Звали ее Карина – она рассказывала о себе, не дожидаясь расспросов, когда ей вздумается, по настроению, и это тоже показалось мне вполне естественным для такой девушки; позднее она как-то призналась мне, что терпеть не может расспросов, усматривает в них посягательство на личную жизнь – в Баку она приезжала к родственникам, погостить, живет в Ереване, учится в Университете последний год, живут они вместе с мамой, папы у них нет. «Вот так, – заключила она короткий рассказ о себе. – Какие будут мнения?» «Самые доброжелательные, – ответил я. – Самые прекрасные, самые искренние, чудесные, гуманные, слезоточивые, душещипательные и душекусательные». «Ох, какое остроумие! – сказала она. – Падаю, держите меня.» «Я готов, – сморозил я, – можете падать, ничего не боясь». «Не говорите пошлостей, – сказала она вовсе не сердито, – просто это у меня любимое словечко, очень глупое, да?» «Нет, почему же, – говорю, – слова сами по себе не могут быть глупыми, слово как слово». «Какой вы, однако», – сказала она. «Какой?» – поинтересовался я. «Неожиданный», – подумав, ответила она. «Это хорошо? Или не очень?» «А вы как думаете?» «Я думаю сейчас, что хорошо все, что вам может понравиться, – ответил

я, – пол часа назад я так не думал». Она без улыбки посмотрела на меня, чуть задержав взгляд на моем лице. «Вы мне тоже расскажите что-нибудь о себе», – попросила она, глядя в окно. Я начал ей кое-что рассказывать, поначалу слишком поверхностно, чтобы не отпугнуть ее моей не очень ровной и чистой биографией. Она слушала внимательно и сочувственно, потом мы еще долго с ней очень мило болтали, постепенно, взаимно – было видно, что она тоже – проникаясь друг к другу симпатией. Вечером мы разошлись по своим купе, я лег, взял прихваченный из Баку журнал, уткнулся в какую-то его страницу и стал думать о Карине. Чемоданчик мой, как стоял, так и продолжал стоять под столиком. Хоть Нагиев и велел мне строго-настрого ни под каким видом не разлучаться с чемоданчиком, но не таскать же мне его было с собой в ресторан. Карина могла бы подумать, бог знает что. С мыслями о ней я и заснул. Помню, когда уже совсем засыпал, был между сном и явью, вдруг отчетливо кольнула мысль, от которой даже сон на минутку сбежал: что же она так легко сошлась со мной, разве не видит, что я калека? На тут же пришла другая, успокоительная мысль, ставящая все на свои места: что значит, сошлась? Разве что-нибудь было между нами, кроме обычных пустых дорожных разговорчиков? Поболтали, выпили по бокалу вина, посмеялись, все это пустяки, и ни к чему, естественно, ее не обязывает. Это я сам все додумывал и размечтался, продолжал мысленно

наши отношения, а так – ровным счетом ничего, и что страшного или удивительного в том, что девушка в поезде от нечего делать познакомилась с одноруким парнем? У меня, кажется, на почве этой однорукости начинал появляться комплекс. Ничего странного, если кругом такое к тебе отношение... Когда мы в Ереване выходили из поезда, я попросил у Карины разрешения проводить ее до дому. Она не сразу, но согласилась. Вещей у нее, как и у меня, было всего ничего, один только большой красивый пакет с изображением двух загорелых девиц на роскошном пляже. Я, помнится, спросил даже, как бы между прочим, что же она от родственников с пустыми руками едет? «Э, – отмахнулась она, – я к ним часто приезжаю. Да и что перевозить? Что такое необычное есть в Баку, чего нет в Ереване?» «Не знаю, – честно признался я, – я впервые у вас в городе». Мы взяли такси, и я поехал проводить Карину, решив после этого поехать по адресу, который велел мне посетить с этой посылкой Нагиев. Выходя из машины, Карина улыбнулась мне и на мою просьбу встретиться, дала мне телефон. От нее я поехал на задание, сказал шоферу адрес, который запомнил у Нагиева, и очень скоро наша машина подкатила к прекрасному дому с высоким, старинным подъездом, в который, как выяснилось, мне и предстояло зайти. У лифта сидела вахтерша. Вы к кому? – спросила она. Я назвал фамилию, которую вместе с адресом велел мне запомнить Нагиев. Она по телефону со своего столика позвонила

и, ожидая ответа, прикрыв трубку, спросила меня: «Как сказать?» «Скажите, гость из Баку», – ответил я опять-таки, как учил меня Нагиев. Она так и сказала в трубку, я заметил, что говорила она очень подобострастно и, положив трубку, даже попыталась улыбнуться мне – из хорьковой ее мордочки неожиданно выпятилась гримаса, отдаленно напоминая улыбку; это было на самом деле неожиданно, как если бы вы увидели улыбающуюся задницу, которая к этому вовсе не приспособлена. Я поднялся на лифте, позвонил в звонок двери. Открыли мне не сразу, хотя я чувствовал, что за дверью стоят и смотрят на меня через глазок. Я стал ковырять в носу, чтобы не оставалось сомнений у наблюдающих в том, что я – это действительно я. Посыльный он и есть посыльный, хотел показать я, в носу ковыряет, хам неумытый. Дверь отворилась. Показался весь обросший дремучим волосом мужик, такой, драка с которым могла бы быть приравнена к самоубийству. Давай! – коротко приказал этот Бармалей, не протягивая руки и спокойно глядя на меня. Я, как меня учили, полез в карман и протянул ему половинку разорванного червонца, что в Баку получил от Нагиева. Он взял неаккуратно разорванную половинку купюры и бесшумно захлопнул дверь у меня перед носом. Сличать пошел, подумал я, составлять две половинки, шпионские страсти прямо, век воли не видать, тьфу! И тут я вспомнил две половинки яблока, неожиданно распавшегося в руках Карины, и сердце

горячо облилось радостью при мысли, что у меня есть ее телефон. Дверь распахнулась стремительно и бесшумно, так что я, размечтавшийся, даже вздрогнул от испуга. Этот детина, верно, все делает без шума, удавит вмиг, тихо-полюбовно, без скрипа, с таким лучше не связываться. Товар, – еле слышно, одними губами проговорил он и на этот раз протянул свою волосатую руку к моему чемоданчику. Я отдал чемоданчик. Он опять провалился за закрывшуюся без стука дверь. На этот раз ждать пришлось долго, но дверь в конце концов открылась все-таки и на третий раз. Он протянул мне небольшую железную коробочку, которая имела замок и явно была закрыта на ключ. Хитрая коробочка аккуратно поместилась в задний карман брюк, как раз впору и я вспомнил, как мы с Нагиевым перед моим отъездом специально примеряли к моему карману похожую на эту коробочку штуковину. Бармалей внимательно проследил, как я засовывал коробочку в карман, и только когда убедился в том, что эта операция проделана мной удачно, протянул мне билет на поезд. Уезжай обратно, – не очень вежливо сказал Бармалей, не меняя своего свирепого выражения лица, с которым распахнул дверь на мой звонок. Немедленно, – прибавил он тоном, не терпящим возражений. У меня тут же, конечно, зачесалось послать его подальше, но нельзя было ни в коем случае портить эту игру – Нагиев очень строго об этом предупреждал, зная мой ершистый характер. Не то послал

бы я этого бугая, ох, послал бы, век воли не видать. Спрятал я в карман рубашки билет, всем своим видом, без слов, стараясь показать этому некультурному детине, что положил на него, но он уже долго не задерживался и, боюсь, сам положил на то, что я на него положил. Я вышел из подъезда и решил пойти позвонить Карине. Но понял, что еще слишком рано, и пошел немного прогуляться по городу, конечно, мой звонок сейчас удивил бы ее; всего-то с пол часа, как мы расстались. Но потом решил – пусть удивляется, что же мне здесь еще и делать, как не звонить Карине? Посидел немного в кафе, чувствуя, как железная коробочка впивается в зад, попросил у официанта двушку. Еще немного посидев и покатав двушку по столику, внезапно я стал сильно волноваться и нервничать. Спокойно, спокойно, говорил я себе, в чем дело, можно подумать, вот ведь черт его знает что, век воли не видать. Вот так я сидел за столиком, вертя и крутя в пальцах двухкопеечную монетку, с такими содержательными и глубокими мыслями в голове. Нет, я в самом деле ужасно стал вдруг волноваться, и в кафе мне сделалось неуютно, я очень сильно испытывал дискомфорт, прямо на грани нервного срыва. Вот черт, а! Я встал и вышел из кафе. За мной побежал официант, схватил за руку, я руку отдернул, будто обжегся об его мерзкое прикосновение (помню, руки у него были мокрые, что-то он там мыл, что ли и не успел вытереть), тут же хотел вмазать ему по яйцам, да, оказалось, что я не заплатил за кофе. Расплатился.

Теперь он стал лезть ко мне со сдачей. Наконец, я от него отделался и пошел по улице. Мне казалось, что если сейчас же она не захочет со мной увидаться – это конец. Вот так мне казалось. Нет, я в самом деле, был в ту минуту просто убежден, что от ее отказа или согласия зависит очень многое и очень важное для меня, почти такое же важное, как мое будущее, как все мое будущее. Ни больше, ни меньше. Когда я набирал в автомате ее номер, рука у меня дрожала. Ответил женский голос, пожилой, явно не ее, я попросил Карину, голос мне сказал, что я не туда попал и на том конце положили трубку. Я тоже повесил трубку и вышел из старомодной будки телефона-автомата. Все, подумал я, она меня обманула, дала не свой телефон, не хотела, видно, чтобы я звонил, а отказать было неудобно, и вот и дала первый попавшийся номер, назвала первое, что на ум пришло, отшить неудобно стало, но ведь я знаю, где она живет, я же могу туда поехать, с чего это она станет давать не свой номер, нет, нет, все ее поведение как-то не вяжется с таким мелким и дешевым обманом, мы же с ней почти подружились... Вот так я думал, шагая по улице, пока, наконец, не догадался, разменять в газетном киоске мелочь и, заимев еще одну двушку, позвонить ей вторично. Трубку взяла она, я сразу узнал ее голос, но на всякий случай еще спросил, чтобы уточнить. «Карина, – сказал я в трубку, – мне надо увидеть тебя». «Что-то случилось?» – спросила она и я, к безмерной моей радости уловил в ее голосе

явственно звучащие встревоженные нотки. «Нет, – сказал я, – пока ничего особенного, но мне кажется, если я тебя сейчас же не увижу, что-то обязательно случится». «Плохое, или хорошее?» – спросила она. «Ужасное». «С кем?» «Со мной». «Да, трудный случай, – сказала она, вздохнув, – надо подумать. Тебе что, некуда пойти?» «Некуда». «А когда тебе уезжать?» «Сегодня», – сказал я. «Странно как-то ты разъезжаешь, – сказала она. – Ты случайно не шпион всевозможных иностранных разведок?» «Он самый, – сказал я. – Угадала. Мне надо видеть тебя и как можно скорее.» «Мне надо, мне надо, – деланно ворчливо повторила она. – Почему мужчины такие свиньи, ты не знаешь? – помолчала и прибавила. – Что ж, если ты на самом деле уезжаешь сегодня...» «На самом деле», – соврал я, проникнув в ее паузу, соврал, потому что уже твердо знал: отъезд мой зависит от нее, от того, как все у нас с ней сложится. «Если б ты знал, как я устала», – сказала она. «Где мне тебя ждать?» – спросил я. «Подумаю, – сказала она. – Минутку». «Минутка прошла», – тут же сказал я. «Лучше будет, если ты подъедешь к моему дому, – сказала она. – Адрес помнишь?» «Помню ли я адрес, помню ли я адрес?! – вскричал я негодующим голосом. «Я улыбнулась, – сказала она, – не думай, что не оценила. Просто сейчас у меня сил нет смеяться». «Скажи – падаю», – попросил я. «Падаю», – сказала она. «Через десять минут я буду у тебя», – сказал я. «Ты где, недалеко?» «Неважно, я тачку возьму», «Ладно, –

сказала она, – через десять минут я спущусь». Но спустилась, конечно, не через десять, а через двадцать семь минут – я то и дело смотрел на часы, и уже изнервничался. Я напомнил ей о том, что он опоздала, чего вполне могла бы избежать, так как ей надо было только по лестнице спуститься, путь, как можно понять не очень дальний. «Не будь занудой», – сказала она. Между нами, кажется, начиналась какая-то новая игра, и в этой игре мы старательно делали вид, что знакомы уже тысячу лет; что ж, мне, по крайней мере, это новое направление в нашем недавнем знакомстве вполне нравилось. Выглядела Карина в самом деле немного усталой, но не стала от этого менее привлекательной, напротив я ее сейчас так сильно желал, что когда спросил о том, куда бы она хотела пойти, и в ответ услышал, что мама ее в отъезде и она дома одна, и будет лучше, если мы поднимемся к ней и она покормит меня, когда, значит, я все это услышал, то немного даже струсил, испугался, что если останусь сейчас наедине с ней – не выдержу, могу полезть и все испортить. Я что-то невнятно и невразумительно пробормотал о том, что, может, это не совсем удобно, но она отмахнулась, решительно взяла меня под руку (причем, помню, стояла она с левой стороны и когда взяла, не глядя, меня под руку, то схватила, естественно, обрубок, но руку не одернула, как, наверно, поступила бы на ее месте любая другая, а как ни в чем ни бывало, продолжала держать меня за культю, будто это был не уродливый обрубок выше

локтя, а самая что ни на есть настоящая рука), мне ее решительность и нецеремонность так понравились, что я не стал больше ломаться, если только можно было назвать ломанием мои жалкие попытки казаться интеллигентным человеком. Короче, через минуту мы были у нее дома, и она, на самом деле угостила меня очень вкусным обедом – долмой в виноградных листьях, это блюдо готовят у нас, сказал я, но долма Карины мне тоже очень понравилась, да и проголодался я, честно говоря. «Сама готовила», – сказала Карина, глядя, как я ем. «Не заливай, – сказал я, – когда успела?» «Да, вру, мама оставила, – улыбнулась она обезоруживающей улыбкой, будто рассчитанной на то, чтобы ее не очень строго судили за эту маленькую, безобидную ложь, – перед отъездом наготовила, а я только разогрела. Но и я умею не хуже». «Разогревать?», – пошутил я. Она шлепнула меня по затылку. «Может, с дороги ты хочешь принять ванну?» – спросила она, и этот ее вопрос был так естественен, что я нисколько не удивился, будто мы давно жили вместе. «Да, – сказал я, – чуть попозже. С удовольствием». Когда я вылез из-под душа – не люблю принимать ванны, куда лучше душ – уже одетый, по-прежнему чувствуя разгоряченным от горячей воды задом прилипшую к нему железку в заднем кармане, Карина спала. На ней был пеньюар, розовый, мне он показался роскошным, точнее, спящая Карина показалась в нем роскошной, и мне снова неудержимо захотелось ее. Я присел у ее изголовья на

корточками, потом стал на колени и осторожно поцеловал ее в щеку, она открыла глаза, молча, без улыбки поглядела на меня, без тени кокетства во взгляде. Я поцеловал ее в губы. Она не ответила. Я стал, постепенно распаяясь, целовать ее лицо, шею, груди, исступленно, как сумасшедший. «Нет, – шептала она, – нет, отстань, не делай глупостей, нет, я буду тебя ненавидеть,пусти, тебе говорю, не лезь...» Но все ее слова проскальзывали у меня по поверхности сознания, я уже плохо владел собой. Она долго, яростно сопротивлялась, но вскоре я вдруг понял, что все, что она больше – не будет сопротивляться, что таким образом она уступает, и это придало мне новых сил. Она крикнула громко, с болью, но я ничего не разобрал, так что не мог бы утверждать точно, со мной ли стала она женщиной, да в эту минуту мне не до того было, я обладал ею яростно и, кажется, долго, как-то ненасытно, будто это была последняя женщина в моей жизни. Когда мы, обессиленные, лежали друг возле друга на смятой и невероятно скрученной и перекрученной постели, в окне начиналось утро. «Я вся в синяках буду», – сказала она каким-то совершенно бесцветным голосом. «Прости, – сказал я. – Поверь, я не хотел так. Ты веришь?» Она молча повернула ко мне лицо и поглядела, не отвечая. Потом спросила: «Для тебя это так важно?» «Очень, очень важно!» – с жаром отвечал я. «Почему?» – спросила она, продолжая глядеть на меня. Я помолчал. «Ну почему?» – повторила она, более настойчиво. «Потому что я не хотел бы, чтобы

ты плохо думала обо мне. Может, то, что я сейчас скажу, покажется тебе смешным, глупым, преждевременным, но я скажу все равно: ты много значишь для меня, нет, не так, я хотел сказать, что очень хотел бы, чтобы ты много значила для меня, и чтобы это произошло, как можно скорее. Поверь. Ты веришь?» «Не знаю», – не сразу ответила она. «Не сердись на меня, ладно?» Она молчала, уже отвернувшись от меня. Кажется, на этом мы и заснули, и поздно утром, почти в полдень, проснулись одновременно и посмотрели друг на друга. Даже сейчас она была очень красива. «Тебе надо побриться», – сказала она. Я приподнялся и поцеловал ее в щеку. «Надо вставать, – сказала она, – я уже опоздала всюду, куда только можно было опоздать. Но все равно надо вставать». Помолчала, потом прибавила: «А ты, кстати, опоздал на поезд, ты не забыл об этом? Вот тебе – огорчайся. Это тебе за то, что ты со мной сделал ночью. Что ты молчишь?» «Думаю, – сказал я, – сделать ли то же самое с тобой сейчас». «Ты спятил?!» – она отскочила от меня в несколько показном испуге. – Пойду кофе сварю». Даже тех нескольких секунд, пока она набрасывала на себя халат, было достаточно, чтобы заметить, как она отлично сложена, какая у нее тоненькая, гибкая, прекрасная фигура. Она показала мне язык. «Уставился, изверг». «Почему это я изверг?» – поинтересовался я. Потом, когда мы пили кофе, она спросила. «Ты уедешь сегодня?» «Ты не хочешь?» – с надеждой спросил я в свою очередь. «Я не хочу, чтобы

у тебя были неприятности по работе, – сказала она, – ты ведь в командировке, не сам по себе». «Ага, – говорю, – в командировке, точно, вот и командировочное удостоверение в кармане брюк». «Тогда езжай», – сказала она покорно. «Я часто сюда буду приезжать», – сказал я. Разговор явно не клеился, внезапно иссякал, хотя, мне казалось, что мне, например, много чего есть сказать ей, и чтобы сказать что-нибудь и нарушить становящуюся угнетающей паузу, я спросил у нее, хотя вовсе не об этом хотел говорить: «А мама твоя надолго уехала?» «Думаю, что да, – сказала Карина неохотно, – она поехала лечиться в Кисловодск, а останавливается там, обычно, у наших родственников, и те ее подолгу не отпускают», «Вот повезло вам, – говорю, – везде у вас родственники – в Баку, в Кисловодске, во Франции». «Во Франции нет, к сожалению, – говорит. «Шучу, – говорю, – это шутка такая, хотя вообще-то я имел в виду Азнавура». «Откуда такое счастье», – говорит. И опять разговор иссяк. Хотел было спросить, чем мама болеет, потом, подумал, бог с ней, еще обнаружится, что у нее что-то женское, неловко. С Кариной мы расстались у нее дома, я сказал, что не люблю, когда меня провожают, да и она, как выяснилось, не очень-то стремилась проводить меня. «Когда возвращаешься с вокзала, проводив близкого, человека, кажется, что одиночество и тоска становятся еще острее, Не люблю вокзалов и прощаний», – пояснила она. «Тут наши вкусы совпадают», – сказал я, улыбаясь, хотя, когда она

сказала про близкого человека, я даже, кажется, покраснел от удовольствия, сердце горячо облилось радостью. Я поцеловал ее и вышел на лестничную площадку. На улице, возле ее дома остановил такси и, прежде чем сесть, глянул вверх и увидел ее в окне. Мне показалось, что смотрела она грустно. Впрочем, вполне может быть, что я увидел то, что мне хотелось увидеть. На вокзале я взял билет, переплатив за оперативность, а проще – отблагодарив кассиршу, и в тот же день отбывал в Баку. В поезде вдруг я вспомнил Карину с каким-то щемящим непонятым чувством, хотя с той минуты, как расстался с ней, ни на миг единый не забывал ее по-настоящему, где-то глубоко в подсознании она жила и ждала своего часа, и вот дождалась – всплыла явственно, ярко; вспомнилось, как она в коридоре у окна вагона отлепила друг от друга две половинки яблока с лукавой усмешкой во взгляде, будто бы говорящей – а вот посмотри, что сейчас будет; вспомнилось, как смеялась тихо, как пили мы с ней шампанское в вагоне-ресторане под любопытными взглядами толстой, неряшливой официантки, как болтали до самого вечера, и странное дело, вспоминалось только, как мы с ней познакомились, то, что происходило в поезде, а не то, как я считал, главное, что случилось ночью у нее дома. Но когда я вспомнил про яблоко, ее смех, наши пустые, ни к чему не обязывающие разговоры, мне вдруг так больно стало, так пронзительно почувствовал я, что не хватает мне ее, этой редкой и, по всей видимости, доброй девушки,

отнесшейся ко мне по-человечески, которая видела во мне не калеку в первую очередь, как многие другие и к чему я уже привык, а видела человека и мужчину. С этими щемящими воспоминаниями я и приехал в Баку, рассеянный, расстроенный и утомленный до крайней степени. Да тут еще и Нагиев встретил меня лаем за то, что опоздал, торопливо забрал у меня коробку, ушел в другую комнату, вернулся минут через пять и сказал, чтобы послезавтра утром я непременно позвонил ему – будет дело. Ладно, – сказал я и пошел к двери. Что это ты такой смурной? – спросил Нагиев, – уж не подцепил ли там трипперок? Пошел ты, – вяло отмахнулся я и сам пошел, отпер дверь и вышел из квартиры этого хмыря. Поехал к маме, отсыпаться. Она в последнее время уже и не приставала ко мне с расспросами, видя, что это бесполезно, я поначалу придумывая что-нибудь безобидное, врал, а потом противно стало, и стал говорить просто – дело есть, ночью не приду, чтобы она не беспокоилась. Но разве она от этого не будет беспокоиться, конечно, нет, беспокоилась, да еще как, и я, как мог, старался успокаивать ее перед отъездами, уезжал, оставляя полсердца с мамой, хоть это, наверно, и слишком красиво сказано; красиво, не красиво, но так и было и полсердца оставалось с мамой, но надо было зарабатывать бабки и мне для этого вполне хватало второй половины сердца, хотя для этого мог бы вообще обойтись без всякого сердца; на вот, когда я встретил Карину, мне уже

труднее было оставлять с мамой полсердца, и в дальнейшем, когда приходилось ездить к Карине, я чувствовал себя почти счастливым, а разве могут счастливые оставлять где бы то ни было полсердца, нет, я чувствовал, как радостно бьется в груди, стучит, переполняется предчувствием счастья, обливается радостью, украденное у мамы сердце. А если это опять получилось слишком уж сентиментально и красиво, то и черт с ним, нельзя же вспоминать о таком некрасиво и бесчувственно. Впрочем, для кого пишу, а? Для себя. Ну и все. И пошли все к черту, а можно и подальше. Через день Нагиев с посылкой: опять же чемоданчик с шифровым замком – послал меня в Ташкент. Билет он мне дал на поезд туда и обратно – на самолет, дал запомнить адрес, куда повезу посылку, подробно проинструктировал, вплоть до того, что по приезде, направляясь к нему, Нагиеву, такси останавливать следует за два квартала до его дома, дал денег на расходы, и я поехал, сделал дело и тут же вернулся. Неинтересно мне было в Ташкенте, да и везде теперь, мне было неинтересно, везде, где не было Карины, и я все приставал к Нагиеву, чтобы он послал меня в Ереван, он обещал, и вообще успокоил меня, что поездки в Ереван у меня будут частые, так как у него прямая деловая связь с этим городом, так, что мне надоест. Ну что ты! – вырвалось у меня, потому, что как раз в эту минуту я подумал о Карине. А он вдруг, хитро и как-то особенно мерзко прищурившись, спросил: а что тебя так тянет в

Ереван? Ничего меня не тянет, – как можно спокойнее ответил я. – Просто город понравился. Старинный. Ему, оказывается, почти три тысячи лет. Ага, – снисходительно покивал Нагиев, – ты слушай их побольше, они и не такую лапшу тебе на уши повесят. Три тысячи... А может, двадцать пять тысяч? Что же мелочиться, давай сразу четвертак. Баку тоже старинный город, так что, погуляй пока в нем, – усмехнулся Нагиев. – Любитель старины нашелся. Завтра вечером позвони... Я ушел от него с тяжелым сердцем, какие-то смутные, недоговоренные, вернее, недодуманные, к которым прикасаться не хотелось, мысли бродили в голове, окаянные как озябшие бродяги с дурной болезнью. Откуда Нагиев может знать, что меня тянет в Ереван? Может, он заподозрил что-то? На пушку берет? И эти его гадкие, сладенькие ухмылочки... Да что я травлю себя, я же сам прошусь поехать, о чем он может догадываться, откуда? Да и потом, пусть даже так, пусть догадывается, ему-то какое до этого дело? Это моя личная жизнь, а задания его я выполняю аккуратно; он велел даже не стараться заглянуть в посылки, и я и думать об этом забыл, хотя иногда грызет червячок, любопытно все же; но что мне об этом думать, когда я весь с ног до головы переполнен ею, и телом, и мозгом, и сердцем и душой я все время с ней, и ни о чем больше всерьез не могу думать. Да ему грех жаловаться на меня, выполняю задания – комар носу не подточит, век воли не видать, так что пусть он заткнется со своими догадками насчет

моей личной жизни. Короче, мысли эти как пришли, так и ушли. Через день Нагиев послал меня в Ханкенди, который армяне называют Степанакертом. Поедешь в машине с моим знакомым, – сказал он, – а оттуда, когда все сделаешь, поедете в Ереван. Он сообщил мне адреса (эти запоминания в последнее время так натренировали мне память, что хоть записывайся в шпионы), дал указания, что и как сделать и отправил с двумя большими посылками в фанерных ящиках, сверху зашитых холстом с сургучными печатями, совсем как на почте. Знакомый Нагиева за всю дорогу не проронил ни слова, только на железку нажимал, и мы летели, как на пожар, кажется, он нервничал, покуривал часто, и все без звука, хотя я раза два – безуспешно, разумеется – старался заговорить с ним, так что, к концу нашего путешествия, уже в Ереване, я был твердо уверен, что он глухонемой. Но когда, сделав дело, я сказал ему (чуть не пустившись объяснять жестами) – можешь уезжать, я прилечу самолетом, он вдруг так яростно разразился ругательствами, что я даже не вникнув в смысл сказанного, был по-настоящему рад за него, за то, что у него не обнаружилось того изъяна, который я по простоте душевной приписывал ему. После того, как приятное удивление прошло и наступило неприятное недоумение, я холодно поинтересовался причиной столь страстного монолога. В чем дело, фраер? – спросил я его, хоть и холодно, но пока вполне миролюбиво, – зубы жмут? Он вскипел еще больше, но симпатичнее мне от этого не

сделался, и захотелось поскорее распрощаться с ним, но он, кипя от непонятого негодования, напомнил мне, что Нагиев велел нам возвращаться вместе на его «жигуленке». Положил я на Нагиева, – сказал я ему почти ласково, хотя очень зачесалось сейчас же вмазать по его негодующему выражению лица, – а если очень хочешь, и на тебя вместе с ним. Он стал багроветь, да и я, конечно, понимал, что это не объяснение, но что же мне было делать, когда я находился тут, можно сказать, в двух шагах от Карины, и уже почти дрожал от мысли, что через каких-нибудь пять-десять минут могу увидеть ее? Короче, я подумал и говорю, ладно, черт с тобой, говорю, только заедем в один дом, подождешь немного, и, заметив, что он собрался было заспорить, заорал на него. – А нет, так и катись к собакам! Ну, он и послушался. Впрочем, вспоминая Карину, я забывал все остальное, а ведь у этого козла в багажнике имелся весьма солидный «товар», как называл посылки Нагиев, и, естественно, на него одного оставлять этот товар нельзя было, все-таки, постоянным посыльным был я, а не он, и вся эта поездка была под мою ответственность, а он, что он – просто хрен за рулем, вот и весь он. Погорячился я, вспомнив про Карину, ну и стал глупости делать. Ну, ладно, влез, значит, я обратно, в тачку этого козла и велел ему ехать по адресу, где жила Карина; а откуда же он адрес этот знает, естественно, не знал, хотя, как утверждал, пока мы спрашивали у нескольких прохожих, бывал здесь на машине

несколько раз. Короче, помотавшись по городу из конца в конец, нашли улицу и я его тормознул не доезжая до дома Карины, и велел ему заехать за угол и ждать там, сообщив напоследок, чтобы ему было не очень скучно ожидать меня, чтобы разные хорошие мысли обо мне не давали ему скучать – что у меня тут совещание с министром иностранных дел Коста-Рики. Впрочем, испортил настроение он мне, а не я ему, потому что, когда я уже вылезал из машины, я заметил, как нагло и многозначительно он улыбается, провожая меня взглядом. Я тут же влез обратно и взял его за грудь. Ты чего усмехаешься, падло? – заорал я ему в лицо, – чего усмешечки строишь? Хочешь, чтобы я тебе яйца оторвал, курва? У меня настроение хорошее, – прохрипел он, весь покраснев, так как рука моя с его груди машинально перескочила ему на горло, а пятерня у меня – дай боже – впору бегемота обхватить за горло, не то, что этого вонючку. Настроение хорошее, – повторил я, успокаиваясь и убирая руку, – знай, с кем говоришь, фраерок. И хлопнув дверью, пошел по улице. Я шел по улице и шептал про себя, как заклинание – хотя бы она была дома, хотя бы она была дома. Звонить не хотелось, боялся, что не поднимут трубку, а так подойду, хоть дверь увижу, хоть постучу в нее, нажму на кнопку звонка, все легче будет, а вообще-то, черт его знает, все это дурацкие игры, и если ее нет – я пропал, этот мерзавец ждать не захочет, еще спровоцирует меня, не удержусь, замочу его,

век воли не видать... Боже мой, подумал я, подойдя к ее двери и очень волнуясь, хотя бы она оказалась дома. Я стал звонить и, конечно, никто не открывал. Тогда я поняв, что все пропало, поездка моя оказалась впустую, в отчаянии забарабанил в дверь кулаком, будто от этого она могла появиться дома, но я мало, что соображал, убитый горем, потому, что это маленькое происшествие для нормального человека, не психа, для меня на самом деле разрасталось в горе, и я был по-настоящему в отчаянии, когда бил кулаком в дверь. Почти тут же, как я стал барабанить, распахнулась дверь напротив и из квартиры соседей выскочила Карина. «Ты что хулиганишь?» – спросила она, улыбаясь. «Так я же хулиган», – ответил я не сразу, оторопев от радости и на некоторое время сделавшись тяжкодумом от быстрого перехода от горя к счастью. «Вообще-то хулиганам здесь делать нечего, – сказала Карина, – но ты можешь зайти». Соседская тетка, очень напоминая бандершу Сову из старого фильма «Парижские тайны», кисло ухмыльнулась и закрыла свою дверь. «Что ты там делала?» – спросил я, когда мы с Кариной вошли в квартиру. «Вязать у соседки училась», – сказала Карина. Мы стояли в прихожей, за закрытой дверью, и я молча прижал ее к себе. Она обняла меня и тихо проговорила: «Скучала без тебя ужасно». «У меня мало времени, – сказал я после того, как мы вдоволь намолчались, глядя друг на друга, целуя друг друга, стремясь тут же слиться друг с другом. – Мы с товарищем

приехали, надо возвращаться». Она чуть отстранила меня от себя, посмотрела в лицо мне, провела ладонью по моему лицу и, не говоря ни слова прошла в спальню. Я вошел следом за ней. Потом, когда мы лежали рядом в широкой постели, еле переводя дыхание, она отдышавшись, сказала: «Я спрашиваю тебя официально и строго: долго ты будешь вот так не по-человечески приезжать?» И, помню тогда, в ту минуту у меня не очень четкая, мелькнула мысль, предложить ей пожениться, но она тут же пропала, в самом деле мелькнув только, потому что, наверно, я сам старался, чтобы эта мысль не очень задерживалась, а сказать откровенно – я боялся, что если скажу вслух, предложу всерьез, она не согласится – все же трижды подумаешь, прежде чем связать свою жизнь с инвалидом – или даже не откажет впрямую, а что-нибудь придумает для отговорки, и тогда – это конец, а мне, как всякому человеку, конец хотелось отдалить на возможно долгий срок. И я, поддельваясь под ее тон, так же полушутя, полусерьезно ответил: «Я тебе официально отвечаю: конечно, да, нет, никогда, разумеется, естественно, как ты хочешь и как ты скажешь, вашими молитвами, аминь». «Ты дурак?» – спросила она. Я пожал плечами. «Знаешь, как-то не хочется признаваться», – сказал я. «Ладно, тогда молчи, – разрешила она, – а я буду догадываться», «Идет», – сказал я. «Шут гороховый», – сказала она, приподнялась на локте и поцеловала меня. И так мы молча, обнявшись, лежали

в сумерках, пока я не сказал: «Карина, мне пора». «Пора так пора», – не сразу ответила она, как мне показалось, с обидой в голосе, которую она и не собиралась скрывать. Я встал, оделся, мы поцеловались в прихожей. «Это становится доброй традицией», – сказала она, имея в виду наши расставания в прихожей их квартиры. Я еще раз поцеловал ее и вышел. «Звони, как будешь приезжать!» – крикнула она мне вслед, когда я уже сбегал по лестнице. Как получится, подумал я, а в ответ крикнул: «Ладно, позвоню» и выбежал на улицу. Козел в своей тачке уже был бирюзового цвета, как раз под цвет машины, но ничего не вякнул, а я пока шел, уже успел завести себя, и если бы он хоть слово мне поперек сказал, я бы, кажется, заставил его откусить его же собственный зад, но он, видно, почувствовав это, поняв по моему виду, что настроен я воинственно, промолчал, и только взял с места на скорости, с диким визгом, отвел-таки душу... Нагиев был очень доволен этой моей поездкой, я немного посидел у него, сказал, что деньги, которые он давал мне на карманные расходы, у меня остались почти целые, он ответил, что это мои деньги и я могу делать с ними, что хочу, угостил меня коньяком и бутербродами с икрой и салями, и когда говорили о том, о сем, я в какой-то момент хотел было напомнить ему про старый должок, да как-то не к месту было, хорошо сидели, зачем кайф ломать, и потом – к чему именно сейчас? – подумал я, все равно ведь помнит, отдаст, мне же эти деньги теперь не к спеху, пусть будут у него,

целее будут, как счет в банке, он ведь и свои-то не знает, куда тратить, что ему до моих денег?.. Мы еще немного поболтали с ним, он был в приподнятом настроении, а в приподнятом настроении он становился прежним, разудалым и болтливым Нагиевым, каким был до моего срока, хитрым и неглупым, умеющим жить и любящим поучать, как это следует делать, короче, в такие минуты слушать его и говорить с ним не было неприятно. Потом я собрался домой, сказав, что позвоню завтра. Нет, – сказал он, – на этой неделе работы не будет, так что, позвони мне в следующий понедельник, посмотрим, может, что и подвернется. А чтобы ты не скучал целую неделю, – прибавил Нагиев, – вот тебе – и протянул мне три сотенные бумажки, – гуляй, но меру знай, – добавил он еще, по своей всегдашней привычке поучать и тут его снова понесло. – Все, что ты тут делаешь, – говорил он назидательным тоном, сделав умное, строгое, скопческое лицо, – должно оставаться между нами, это очень важно... И пошел, и пошел, и так далее, тому подобное. Я это уже не раз слышал, – прервал я его. Я хочу, чтобы ты хорошо усвоил это, – не унимался Нагиев, – от этого зависит твоя жизнь, нет, я тебя не пугаю, да ты и сам не из пугливых, но усвоить ты должен крепко, потому и повторяю тебе: если хочешь жить и процветать – держи язык за зубами. Никому ни слова. Ни маме, ни друзьям. Особенно – маме... Почему это – особенно маме? – спросил я, уже злясь. Она женщина, – сказал Нагиев, – может случайно проговориться, что ты

ездишь в частые командировки, соседкам может сказать, те – дальше, и все – хана, ты понял? Понял, – говорю. Это очень хорошо, что понял, – говорит Нагиев, – ну, ладно, иди, гуляй. Да голову не теряй... Да слышали уже, – отмахнулся я, ну что он, в самом деле, прилип, как муха к дерьму? Иди, гуляй, – повторил еще раз Нагиев, видимо, чтобы подчеркнуть свое право командовать мной, – и... И что? – спросил я, решив после любого задевающего мое самолюбие ответа, послать его подальше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.